Сергей
Гандлевский

Бездумное былое

CORPUS

Лексикон Гандлевского —
первого порядка, без поиска экзотики.
Но выбор слов и словосочетаний таков,
что ощущение новизны — непреходяще.

Петр Вайль

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергей Гандлевский — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Окончил филологический факультет МГУ. Работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем; в настоящее время — редактор журнала «Иностранная литература». С восемнадцати лет пишет стихи, которые до второй половины 80-х выходили за границей в эмигрантских изданиях, с конца 80-х годов публикуются в России. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Малая Букеровская», «Северная Пальмира», «Аполлона Григорьева», «Московский счет», «Поэт». Стипендиат фонда «POESIE UND FREIHEIT EV». Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, Германии, США, Нидерландах, Польше, Швеции, Украине, Литве, Японии. Стихи С. Гандлевского переводились на английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, польский, литовский и японский языки. Проза — на английский, французский, немецкий и словацкий.

«Бездумное былое» — «беглые мемуары», по определению автора, которые начинаются историей семьи и заканчиваются декабрем 2011-го, многотысячными московскими митингами протеста.

- Сергей Гандлевский
  - ○
  - Фотографии
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

○ 17

Сергей Гандлевский
Бездумное былое[1]

Начну с оговорки. Мне уже случалось рассказывать о себе — в автобиографической прозе и в нескольких интервью. И конечно, у меня в памяти сохранно некоторое количество более или менее складных «топиков» на заданную тему… Дело даже не в том, что мне скучно повторять их, — здесь другое: я не очень уверен, что от пересказа к пересказу не шлифовал собственные (или даже не собственные) воспоминания. Как латаешь сон, сочиняя сюжетные перемычки между разрозненными эпизодами, а после неоднократного пересказывания забываешь, что вообще-то эти связи тобой же домыслены. На этот раз постараюсь вспоминать как бы наново, а не сбиваться на обкатанные версии. Хотя факты есть факты.

* * *

Я родился 21 декабря 1952 года. Времена меняются, и все реже, узнав эти число и месяц,[2] мои собеседники делают большие глаза и издают особые звуки. Еще сравнительно недавно и мимика и междометия гарантировались. Первый свой крик я издал в роддоме имени Грауэрмана. Некогда название славного медицинского заведения было своего рода знаком московского качества и даже шиком — поводом для шутейного гранфаллонства.[3] Первый крик я издал запоздало: был придушен пуповиной, что имело кое-какие последствия в будущем — например, освобождение от армии.

Семья, откуда я родом, кажется мне типичной советской семьей — в том смысле, что такие социально чуждые друг другу люди могли породниться только благодаря историческому катаклизму. Скажем, именно меня, каков я есть, наверняка бы не было на свете, не случись октября 1917 года, — и нас, таких, миллионы. Парадоксально, что все члены нашей семьи были настроены в большей или меньшей степени антисоветски.

Лет полтораста назад мой прапрадед по отцу был купцом второй гильдии (по-польски «гандлевать» и означает «торговать»), «Мойсеева закона»; его сын, мой прадед, был врачом с университетским образованием. Недавно нашелся его послужной список, из которого явствует, что в 1904 году Дувид (так!) Гандлевский призван из запаса на действительную службу

медиком в Маньчжурскую армию и командирован в Харбин. (Мой дед рассказывал, что когда его отец, воротясь с русско-японской войны, склонился, небритый и в шинели, над его кроватью, маленький Мозя не узнал его и заверещал: «Поцилейский, поцилейский, заберите этого городового!») После революции оба сына Давида Гандлевского, мой дед Моисей и младший брат его, Григорий, оставили родительский дом в Черкассах и приехали в Москву. Они были интеллигентными — образованными, трудолюбивыми и порядочными — людьми. И один и другой сделали честную карьеру: Григорий стал химиком и впоследствии — лауреатом Сталинской премии, а Моисей, инженер, в войну дослужился до уполномоченного наркома вооружения Д. Ф. Устинова. Есть семейное предание, что Устинов, ценя деда, раз-другой спасал его от ареста, накануне чисток отправляя в долгосрочные командировки в какую-нибудь глухомань. Женитьба деда была совершенным послереволюционным мезальянсом: моя бабушка, Фаня Найман, — уроженка местечка Малин под Киевом; ее отец был законченный шлимазл,[4] наплодивший прорву детей. Некоторые из тех, что выжили (а не погибли от болезней, по недосмотру старших или от рук погромщиков), естественным образом шли в революционное движение и оказывались своим чередом в Сибири, где по окончании срока ссылки и осели. Уже на моей памяти в квартире дедушки и бабушки наездами жили раскосые и скуластые потомки якутских Найманов. Это — что касается отцовской родни, о которой у меня кое-какие отрывочные сведения имеются.

Куда туманней происхождение моей матери, Ирины Иосифовны Дивногорской, потому что она была по обоим дедам из попов, то есть «лишенкой» по советским понятиям. Отец ее, ветеринар и попович Иосиф Дивногорский, умер, когда маме было четыре года. Маминого деда с материнской стороны, Александра Орлова, отправили в лагерь на Соловки, видимо, в самом начале 30-х. А потом, по слухам, перевели в Казахстан, где он и сгинул. Сколько-то лет назад я познакомился на Соловках с Юрием Бродским, историком-петербуржцем и специалистом по Соловецким концентрационным лагерям. Вскользь я рассказал ему о своем предке, попе и здешнем узнике. Через два-три дня мы случайно встретились с Ю. Бродским на причале за полчаса до моего отплытия в Кемь. И он сказал, что после нашего разговора порылся в архиве и набрел на одно-единственное упоминание о моем прадеде: «Справляли Пасху в священнической роте. У Александра Орлова нашлась банка шпрот».

По легкомыслию и молодой занятости самим собой я почти не расспрашивал маму о ее родне, а она помалкивала —

десятилетия социального изгойства приучили ее поменьше распространяться о собственном порочном происхождении. Я морщусь от жалости, когда представляю себе десятилетия пугливого существования этих трех пораженных в правах, уязвимых и беспомощных женщин — вдовы-попадьи, вдовы-поповны и девочки Иры: хамские коммуналки, пытка трудоустройства с бдительными кадровиками, анкетами и проч. Так что с материнской стороны — белое пятно. Лежат у меня в картонной коробке из-под допотопных конфет несколько поздравительных — с Пасхой и Рождеством — открыток с предусмотрительно вымаранными адресами и подписями; осталось несколько фотографий больших священнических семейств, расположившихся на лавочках вокруг родоначальников-батюшек перед деревянными одно— и двухэтажными домами, но кто есть кто на этих снимках, спросить уже не у кого. В памяти засели названия провинциальных городов — Рязань, Тамбов, Моршанск, Мичуринск (Козлов), к которым этот поповский клан имел какое-то отношение, но я — последний, в ком эта тусклая полупамять еще как-то теплится. Мама, когда они в 1980 году с отцом ехали в отпуск в Карпаты, по дороге наводила справки в одном из этих городов, но ей сказали, что в войну перед приходом немцев архивы уничтожались.

Отношение к советской власти моей родни по отцу похоже на отношение нашего круга к нынешней власти. В конце 80-х — начале 90-х мы приветствовали новые веяния сверху — сейчас снова, как и во времена СССР, не хотим иметь с государством ничего общего. Но тем не менее я вступаюсь за энтузиастические 90-е, когда кто-нибудь поливает их грязью, хотя бы из уважения к собственным былым надеждам. Так же реагировал на мой антисоветский нигилизм и дед (отец куда в меньшей мере). Но родственники-то с материнской стороны, тихие провинциальные попы, вообще были здесь ни при чем, жили как бы вне истории — просто попали под раздачу. Да еще как попали!

Так что, будучи полукровкой, а по еврейскому закону — русским, я жил и воспитывался в почти исключительно еврейской семье и среде. Вот одно дурацкое свидетельство. После очередного байдарочного похода (большая родительская компания из года в год плавала по русским и карельским речкам и озерам) я — было мне лет десять — спросил отца, почему у всех интеллигентов волосатая грудь. (А то, что мы интеллигенты, я знал из разговоров старших.) Отца мой вопрос озадачил. Но из этой, детской и фантастической, причинноследственной связи понятно, что никаких иных интеллигентов, кроме еврейских, с семитски обильной растительностью, я тогда не встречал.

Впрочем, и семья, и родительские друзья-знакомые были людьми вполне — и сознательно — ассимилированными. Интерес к собственному еврейству, разговоры на эту тему считались дурным местечковым тоном и вообще дикостью.

* * *

Первое мое воспоминание довольно страшное. Женщина в белом, видимо няня, ведет меня за руку, одетого в форменный халатик и колпак, перелеском снаружи изгороди детского сада, подводит к глубокой яме, на дне которой… притаились на корточках мама и папа. Я обмираю, меня тетешкают, тормошат, по-домашнему зовут Ёжиком, а женщина в белом нервничает и поторапливает. И когда время свидания вдруг истекает, я поднимаю вой и отказываюсь возвращаться в казенный дом. Меня уводят силой. (Это родители правдами и неправдами уговорили нянечку вывести меня за территорию заведения, неожиданно закрытого на карантин.) Помню, что там я откликался на прозвище Нездоровица; наверное, это употребленное мной домашнее слово развеселило персонал. «Нездоровица, куда лопатку подевал?»

Но вообще всякой такой душераздирающей диккенсовщины было в моем детстве совсем немного, иначе бы моя память не кружила всю жизнь вокруг да около. Я замечал, что память людей с трудным и безрадостным детством нередко как бы обнуляется, чтобы вести отсчет с более приятных времен.

Не то у меня. Почти еженощно, лежа на спине в считаные секунды отхода ко сну, я с убедительностью галлюцинации воскрешаю какую-нибудь малость полувековой давности: идеальную белизну и изгиб сугроба, выросшего за ночь напротив нашего первого этажа на Можайке; обивку родительского дивана, на котором нельзя было прыгать; счастливый запах псины и могучую побежку Рагдая — немецкой овчарки из углового подъезда… (Иметь собаку было *idee fixe*. Я даже вставал на час раньше, чтобы до школы — зимой! в утренней темноте! — побродить хвостом за каким-нибудь соседом, выгуливающим своего барбоса. Заодно влюблялся и во владельца.)

Повезло и с ежегодным каникулярным летом. Ужас пионерского лагеря ограничился для меня всего одной сменой классе во втором — в третьем. Мало, как сейчас говорят, не показалось. Знал бы отец, до какого немыслимого градуса разом подскочило сыновнее обожание, когда папина рубашка-бобочка мелькнула у административного корпуса, кладя конец моему

многодневному отчаянию! И с тех пор были только дачи, бабушки, прекрасные поездки всей семьей: на байдарках либо в какую-нибудь российскую или украинскую глухомань и т. п.

Своей дачи не было (дед, когда был в фаворе, по принципиальному небрежению отказался и от дачи и от машины), поэтому снимали то в подмосковных деревнях (теперь это та самая Рублевка), то в профессорском поселке недалеко от Болшева. Велосипед, Уча, Клязьма, Москва-река, подростковые шашни, чтение — все как полагается. Плюс собака. Мне было девять, когда родители поддались на мои мольбы и купили щенка. Так что к моему нынешнему предпенсионному возрасту на вопрос, люблю ли я собак, я, скорее всего, пожму плечами: ей-богу, не знаю. Но за пятьдесят лет вошло в привычку, что какая-нибудь трогательная и уморительная тварь живет с тобой под одной крышей, требует жратвы в урочный час и понуждает к прогулкам в погоду и непогоду. Вспомнил, кстати, одно маленькое сбывшееся пророчество. Мне не было пяти лет, когда мать на сносях спросила: «Ты кого хочешь — брата или сестру?» — «Бульдозера», — ответил я, имея в виду бульдога, вернее — боксера. В сорок лет я и обзавелся боксером Чарли, а теперь у меня семидесятикилограммовый недотепа Беня, бульмастиф.

С братом в детстве и отрочестве мы не больно-то ладили. Я изводил его как мог, например прикидывался мертвым и наслаждался его горем. Он тоже в долгу не оставался — вредничал, зная, что родители почти наверняка возьмут его сторону. Детская жестокость объясняется, может быть, тем, что человек заново и на ощупь, как слепой в незнакомом помещении, осваивается с душой, испытывает обнову так и этак, в том числе и пробной жестокостью.

До школы я был тихим, упитанным и задумчивым. Родители вспоминали, как, забирая меня из детского сада, всякий раз спрашивали: «Ёжик, ты что такой грустный?» — «Я не грустный, я веселый», — отвечал я скорбным голосом. Однажды мы шли с отцом, он оступился в лужу и ушел в нее с головой — лужа оказалась перелившимся через края открытым канализационным люком. «Папа, ты куда?» — спросил я.

Отцовскими стараниями годам к пяти-шести я стал читать. В чтение я не с ходу втянулся. Сперва отец мне пересказывал «Робинзона Крузо» и всякое такое. Первой самостоятельно прочитанной книжкой была «Борьба за огонь» Жозефа Рони-старшего про уламров каких-то — потом пошло-поехало: Купер, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма, Стивенсон.

Расскажу о нашем жилье. Но для этого придется снова говорить о временах, когда меня еще на свете не было. Отец до

женитьбы жил в родительском доме — добротном сталинском строении на Большой Пироговке. Там сейчас живет семья моего дяди, Юрия Моисеевича; квартира эта и поныне воспринимается мною как фамильное гнездо. Перед самой войной, когда ее дали деду, это было — на общем жилищном фоне, — конечно, роскошью. Но жили в этих трех маленьких комнатах по возвращении из эвакуации, по существу, вповалку: дед с бабушкой, два лба — отец с младшим братом — и бабушкина местечковая сестра Неха с дочкой-подростком Инной, отца которой, по обычаю той эпохи, расстреляли. Домашняя атмосфера, судя по рассказам, была специфической, хотя и показательной. Дед-начальник дневал и ночевал на службе, появлялся редко, внезапно и внушал трепет. Жизнь с верховной подачи мыслилась как нечто, приводимое в движение силой воли и движущееся по колее долга. А поскольку соответствие спущенным сверху идеалам превышало меру человеческих возможностей, домашние, дети в особенности, чувствовали себя виноватыми в собственном несовершенстве и в свой черед упражнялись на детском уровне в административно-командных взаимоотношениях. Такой получался классицизм — в тесноте и обиде. Понятно, что привести сюда молодую жену мой двадцатипятилетний отец не хотел и въехал в коммунальную квартиру на Можайке, где жила мама со своими социально предосудительными матерью и бабушкой в двух одиннадцатиметровых комнатах-пеналах.

Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали внезапные кратковременные исчезновения отца — это он с непривычки и по застенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на тогда еще дикий берег Москва-реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала: политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили его в кутузку для выяснений: трасса-то правительственная.

Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десяток семей и проч.) — в такой я бывал, навещая нашу с братом названую бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется, расстрелян), подругу умершей в середине 50-х маминой мамы. В доме Веры Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57-й школы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты — наши, за стеной — еще

четверо: родители и две дочери. Глава семьи — кухонный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пересказом газетных передовиц, тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией-палиндромом Ажажа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое время энтузиаста-уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магнитофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне с бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где в конце концов прения сторонников и противников существования внеземных цивилизаций прервал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.

Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажи главным образом не заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни («Сигаретой опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку…») — был магнит попритягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.

А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови попортила музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в самой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут старорежимного воспитания — ума не приложу! Может быть, именно в противовес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по соседству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда-сюда смычком по струнам, потом пересел за пианино, держал кисть руки «яблочком», барабанил через не хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынешняя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Просто в приданом жены оказалась коробка с «Бранденбургскими концертами», и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.

А обязательное среднее образование я получал до середины девятого класса по местожительству — в районной школе № 80 (потом она сменила номер на 710). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже хорошей, впрочем, именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.

Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати-тринадцати я из тихони превратился в подростка с норовом — мой дневник ломился от дисциплинарных замечаний вроде: «На уроке географии бросал тряпку в Казакевича» и т. п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего учительства, жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие юнцы знают кое-что, по сравнению с большинством, не знающим вообще ничего, но ведут они себя, будто знают

все, — и умерить их апломб непросто.)

Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной, чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче — в отдельной квартире по соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два, я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка-родоначальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого «похитителя велосипедов», изумленно пробормотала: «Аид?»[5]

* * *

Советское детство рано научало дипломатии. Была семья со своим словарем, укладом и интересами. Довольно скоро ты овладевал азами двойного сознания: одна и та же тема или деятель истории (Ленин, к примеру) могли совершенно по-разному оцениваться в домашних стенах и в школе, но в школе полагалось держать язык за зубами. Но это еще не все. Был двор, куда всех детей ежедневно отправляли гулять. Но прогулки были далеко не пасторальными: случались жестокие избиения, истязание бездомных животных было в порядке вещей и, разумеется, в ходу были самые барачные представления об интимной жизни. Весь дворовый опыт следовало держать при себе под родительским кровом, прикидываться наивнее, чем ты являлся в действительности. Царило раздолье для душевной неразберихи: благородный до выспренности круг домашнего чтения и «Мальчик из Уржума» на уроке; дворовый переросток Шурик, с комментариями мастурбирующий напоказ перед мелюзгой; приправленные политической крамолой семейные разговоры, плохо стыкующиеся с мажорной гражданственностью школы; показательная казнь кошки и проч. Было от чего уму зайти за разум, и остается только дивиться прочности детской психики. Хотя совсем без фобий не обошлось: шпана и кошки — по сей день постоянные действующие лица моих кошмарных сновидений. Интересно, отдавали себе отчет наши родители, участниками какой заочной педагогической баталии они являлись, подозревали ли об истинном раскладе сил?

Было еще одно привходящее обстоятельство моего детства — постоянные головные боли, почти вошедшие в привычку. Вдобавок лет с девяти до четырнадцати у меня случилось несколько припадков с потерей сознания и судорогами. Светила

медицины, к которым мама водила меня, объяснили мой недуг родовой травмой. В итоге я был освобожден от прививок, уроков физкультуры и получил дополнительный свободный день и мешок пилюль. Этой своей неочевидной хворью я попользовался сполна. Я не опускался до примитивной симуляции — я мастерски изображал сборы в школу на последнем пределе сил и терпеливо добивался, чтобы решение о пропуске занятий исходило от отца с матерью. Лишь покуражившись вволю, я сдавался на милость победителей, мама инструктировала меня насчет обеда — какую кастрюлю подогревать и на каком огне, и встревоженные родители уходили на службу. Мне кажется, что именно в один из таких срежессированных прогулов я испытал первый приступ отроческой графомании.

Вообще-то в семье я не был белой вороной: стихоплетством, особенно на случай, баловались все Гандлевские — дед и брат его, отец и мой дядя. Вот, например, славный детский опус моего отца:

> Ходили на каточки мы,
> Катались на коньках.
> Гонялись за девочками
> В оранжевых портках.

Долгие годы я считал неверное ударение в третьей строке поэтической вольностью, пока не напоролся на такое же у Державина.

Первым моим сочинением была поэма о любви. Она так и называлась «Поэма о любви». Причина для написания была самая уважительная: красивая строгая девочка, которая мне нравилась, перевелась в другую школу. Но в эту историю я подмешал всяких красот из книжек: зловещего соперника, дуэль, внезапную смерть возлюбленной по истечении десятилетий,[6] да и собственную впридачу — в двух последних строках поэмы:

> Мгновение! И дрожь в ногах!
> И я безжизненный упал!

То, что смерть автора описывалась от первого лица, меня не смутило. Эта бредятина и по прошествии полувека кажется мне милой, и я ее не стесняюсь. Но уже через год-другой в моих опусах появился душок стенгазеты и подростковых сатирических потуг. Они и написаны маяковской «лесенкой». Ну их.

Детское сочинительство длилось недолго и годам к

тринадцати сошло на нет. А тем временем родители стали думать, кем мне стать. Поскольку я любил собак и жалел дворовых кошек, решено было, что у меня есть склонности к биологии. Мама, человек дела, все разузнала и отвела меня в КЮБЗ (так неблагозвучно сокращался Кружок юных биологов зоопарка). Я вызвался и написал к одному из занятий реферат о модных тогда дельфинах. Зачем-то по сей день помню, что у человека в мозгу одно специфическое ядро, а у дельфина — два. И еще что кожа дельфина толщиной 10 миллиметров, за счет чего гасятся турбулентные завихрения. Дело за малым: вспомнить, что все это значит. И в свои нынешние на сон грядущий «пятиминутки памяти» я изредка отчетливо воссоздаю осень, темень, безлюдье после закрытия, и ты, тринадцатилетний, но посвященный, вдыхая роскошную вонь зверинца, опасливо бредешь к служебному выходу мимо клеток и вольер, за которыми оживляются, посапывают и порыкивают четвероногие зэка. За каждым «кюбзовцем» «закрепляли» какого-нибудь зверя, мне достался бамбуковый медведь Ань-Ань, тот самый, воспетый Юзом Алешковским.

Я было согласился на предложенное мне отцом и матерью будущее. Прошел конкурс в математический класс своей же школы и на «четверки» брал задницей точные науки, исправно почитывал книжки по предстоящей профессии, стал ходить по соседству к учительнице английского (мы уже переехали в Сокольники — в отдельную квартиру от отцовского предприятия). Но что-то точило меня изнутри, будто я собираюсь сделать нечто хорошее, но не совсем правильное и. непоправимое. (Сравнение с женитьбой по расчету здесь кстати.) К тому же дядя, отцовский брат, подливал масла в огонь. Я дядю люблю, уважаю и ценю. Он не такой эффектный и плакатно-волевой человек, как его старший брат и мой отец, но именно дядины тихие советы подталкивали меня к некоторым решительным поступкам, о которых я после не жалел, — спасибо ему. Юра соблазнял меня не столько литературным трудом, сколько литераторским образом жизни: сладким утренним сном, пока простые смертные сломя голову несутся к проходным заводов и НИИ, богемными нравами, посиделками за полночь без оглядки на скорый подъем по будильнику и прочим сибаритством, которого он сам, инженер, был лишен, но знал не понаслышке, дружа с талантливыми выпускниками МГПИ — Визбором, Ряшенцевым и другими. Я, сообразно летам, имел о писательской доле более возвышенные и драматические представления; оно и понятно для уроженца России и выходца из книжной семьи! Но я ничего не писал в эту пору — абсолютно ничего!

И как-то зимним вечером я шел с частного английского урока, прокатился с разгона по длинной черной ледяной проплешине на тротуаре, а когда ступил на асфальт, решился — раз и получается, что навсегда: буду-ка я писателем. В сущности, на пустом месте.

Это решение стало неприятной неожиданностью для родителей. С моей стороны было всего лишь хотение с привкусом — иногда и для меня самого — бреда. С отцовской — целая череда здравых доводов против: гуманитарий в СССР обречен на вранье; творческие профессии легко уживаются с положительными родами деятельности (врач Чехов, химик Бородин и др.); посредственный писатель, в отличие от среднего инженера или рядового экономиста, — печальное зрелище и т. п. Но я упорствовал, потому что сразу прикинул на себя и всем сердцем свыкся с обликом свободного художника, возможно, даже с трубкой в зубах, и ну ни в никакую не соглашался расстаться с полюбившейся мечтой. И родители отступились. По существу, как я теперь это расцениваю, я тогда предал семейный — причем нескольких поколений — идеал жизни как волевого усилия и преодоления и предпочел облегченный вариант — жизнь в свое удовольствие. На склоне лет соглашусь, опустив глаза: такая жизнь, несмотря ни на что, сладка.

Поскольку прямо по курсу теперь маячил не биологический, а филологический факультет, я наспех перевелся в школу неподалеку — в гуманитарный класс. Это стало бы большой ошибкой (общий интеллектуальный уровень моих одноклассников-гуманитариев оказался куда ниже, чем в оставленном математическом классе), если бы в новой школе литературу не преподавала Вера Романовна Вайнберг, ифлийка со всеми возвышенными добродетелями, присущими выпускникам этого учебного заведения с репутацией советского «Лицея». На фоне разных, но стилистически на удивление однородных людмилочек николавен тогдашнего пед-состава она смотрелась чудно. Странное дело, но мы, шушера противного переходного возраста, сидели на ее уроках тише воды ниже травы, хотя она, в отличие от иных коллег, не орала на нас до вздутия жил на лбу и шее, не грохала журналом об стол и не стращала вызовом родителей в школу. Она ко мне благоволила — я перед ней благоговел. Вера Романовна сверх всякой меры расхваливала мои ответы и сочинения, а поскольку я уже знал, что буду освобожден по состоянию здоровья от выпускных экзаменов, то внаглую бездельничал на большей части предметов. Словом, я с подачи учительницы в щенячьем возрасте подцепил постыдную звездную болезнь. Но — пусть в некрасивых и

безвкусных формах — я, будто во сне, дивясь и робея, поверил в свою звезду.

Июнь по окончании девятого класса я провел в доме отдыха под Москвой. За мной приглядывал сосед по комнате, отцовский сотрудник, но большую часть долгого дня я был предоставлен себе. Месяц, отданный всяческим грезам и бумагомаранию, стал первым опытом замечательного одиночества. О стихах речи не шло: я начисто утратил детское умение более или менее связно говорить в рифму — я готовил себя в прозаики. Но все сюжеты были с чужого плеча, поэтому я смирился и начал упражняться в описаниях природы, вешая по два-три эпитета на одно существительное (реку, дерево, облако). Еще я косился за вырез платья официантки Раи. Больше ничего не помню.

В выпускном десятом классе мое самомнение уравновешивалось плохо скрываемым отцовским разочарованием и отборной бранью бой-бабы — репетитора по русскому и литературе. Она костерила меня за отсебятину, ту самую, за которую хвалили в школе, и заставляла зубрить признаки романтизма, соцреализма и проч. Ко времени поступления в МГУ я был окончательно сбит с толку. Правы оказались обе учительницы: «признаки» действительно на экзаменах спрашивали, но совершенно случайно принимала у меня устный экзамен и авансом завысила оценку жена поэта Всеволода Некрасова — Анна Ивановна Журавлева, наслышанная о моей отсебятине приятельница Веры Романовны. Я чудом и впритык набрал проходной балл и в 1970 году поступил на русское отделение филфака Московского университета.

* * *

На старшие классы и вступительную пору пришлось мое страстное увлечение Достоевским. В зрелые годы, когда я с опаской перечитываю его, я испытываю вину и неловкость. Несколько лет назад я все-таки свел концы с концами — примирил страсть молодости с последующим охлаждением. Достоевский, на мой вкус, — гениальный писатель для юношества. «Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет», — сказал Герцен. Именно такому возрастному душевному строю Достоевский приходится особенно впору. Молодого человека с запросами он заряжает самым крайним знанием, причем под надрывный до невозможности аккомпанемент, на который так падка молодость. Психологизм Достоевского резонирует с

молодой страстью к самокопанию и увлечением собственной сложностью и противоречивостью. Его трясет — но и тебя лет до двадцати пяти трясет!

А после, когда «алгебра идей» принята к сведению, наступает пора «арифметики», «частного», наблюдений и подробностей — природы, социальных повадок человека, любви, семейных хитросплетений, старения; пора отношения к иным проявлениям своей и чужой сложности как к распущенности; время чувств, а не страстей… И в один прекрасный день твоя рука, как бы сама собой, минуя Достоевского, снимает с полки Толстого.

Страстью к Достоевскому я во многом обязан знакомством и двадцатипятилетней дружбой с Александром Сопровским. Мы виделись с ним мельком на «сачке» — под спиралевидной лестницей на первом этаже нового гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Там, на батареях и около, курили и рисовались кто во что горазд нерадивые студенты. И как-то вскользь мы с Сопровским обмолвились заветными цитатами из «Легенды о Великом инквизиторе», и нас дернуло электричеством духовной близости. В школе я не знал дружбы — мне вроде бы хватало и приятельства. Я человек общительный, но закрытый и непростодушный. А Саша, наоборот, был очень открытым и простодушным, но букой. И он тотчас взял меня в такой дружеский оборот, что я поначалу опешил. Мало того что я впервые столкнулся с таким напором, я впервые почувствовал, каково это — быть другом человека, по-настоящему самобытного, от природы наделенного даром свободы. Он часто поражал, иногда раздражал и всегда выматывал меня. Лучше всех, по-моему, сказал о Сопровском сорок лет спустя Михаил Айзенберг: «Этот мешковатый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой-то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе „вольно“, но с такой строгостью, что вышло строже любого „смирно“». Под обаянием личности Сопровского мои представления о мире если не зашатались, то расшатались. («Мои» — сильно сказано; своими я толком и не успел обзавестись, а Саша успел.) Но главным и для него и для меня было, что он писал стихи; и школьный товарищ его Александр Казинцев — тоже, и их приятель Давид Осман — тоже. Так я, еще только мечтавший о писательстве, сошелся с людьми, уже считающими себя поэтами, и начал «торчать по мнению». (Эту идиому я узнал от Петра Вайля. Она означает — самому не пить, но хмелеть за компанию.) Заодно с ними я стал время от времени посещать университетскую литературную студию «Луч», возглавляемую и по сей день Игорем Волгиным. Прочел там свой — единственный! — рассказец, над которым аудитория

позабавилась всласть. Я много нервничал, что у меня нет таланта, старался скрыть от одаренных друзей свои опасения, от чего нервничал еще больше, и в разгар нервотрепки и мук уязвленного самолюбия влюбился без памяти, и, в числе прочего, забыл, что не умею рифмовать, и написал первое стихотворение — ночью 22 июня 1970 года.

(Наверное, это одно из самых приятных чувств, доступных человеку, — превзойти свои же представления о собственных возможностях. И внезапно понять, что в действительности означает слово «плавание», когда вдруг оказывается, что вода держит тебя на плаву!)

«Теперь это от тебя не отвяжется», — пообещал мне Сопровский и оказался прав: в течение нескольких лет я писал в среднем стихотворение в неделю. И теперь не только я, представляя кому-нибудь моих друзей, говорил «такой-то, поэт», но и они величали меня этим неприличным до смущения словом.

От восторга перед новыми горизонтами голова моя пошла кругом, я как с цепи сорвался. Родители считали (и у них были на то веские основания), что меня будто подменили. В первую очередь их многолетние терзания сильно омрачают мою память. Оба давно умерли. Отец делается мне с годами все ближе и дороже — по мере того как я становлюсь таким же, как он, тяжеловесом, во всех значениях. А штамп «мать — это святое» представляется мне непреложной истиной.

В 1971–1972 годы дружеский круг определился окончательно: мы с Сопровским и Казинцевым сошлись с двумя звездами университетской студии — Бахытом Кенжеевым, вылитым восточным принцем, человеком большого таланта и добродушия, и с Алексеем Цветковым, байронически хромающим красавцем с репутацией гения. Цветков и Кенжеев с полным правом, во всяком случае по отношению ко мне, вели себя как мэтры. И здесь — одно из главных везений моей (тьфу-тьфу-тьфу) везучей жизни. С одной стороны, превосходящими силами четырех друзей мне был навязан очень высокий темп ученичества, а с другой — возрастной расклад (два «старика» на трех «юнцов») осложнял психологическую «дедовщину»: хотя бы количественный перевес молодняку был гарантирован. Я это к тому, что когда молодой новичок вступает в сложившийся круг старших, это сперва способно польстить самолюбию, но по прошествии времени у него могут сдать нервы: годы идут, а он все, по собственному ощущению, в подмастерьях. Я знал примеры таких срывов. Не исключаю, что предсмертные вздорные годы превосходного поэта Дениса Новикова объясняются чем-то подобным, хотя никто из старших друзей-поэтов его за мальчика не держал.

Подробности первого знакомства с Кенжеевым я запамятовал, а начало дружбы с Цветковым помню. Я набрался смелости, позвал его в гости и обрадовался легкости, с которой он принял приглашение. Родители были извещены о важном визите. Мама накрыла на стол, отец разлил по бокалам сухое вино и по ходу несколько скованного обеда завел литературный разговор.

— В мои времена считалось, — (о, эта самолюбиво-настороженная неопределенно-личная конструкция!), — что есть три великие эпопеи: «Война и мир», «Тихий Дон» и «Сага о Форсайтах».

— Ну, Голсуорси — вообще не писатель, — сказал, как отрезал, мой кумир, уписывая за обе щеки. Так без лишних антимоний я был взят в учебу.

Если называть вещи своими именами, учеба приняла форму самого кромешного национального пьянства, чуть не сказал застолья. «Застолье» было бы словом совсем иного стилевого регистра — стол имелся далеко не всегда. В какой-нибудь грязной сторожке, подворотне или котельной, опорожнив стакан омерзительного пойла, Цветков мог сказать в своей ядовитой манере: «Сейчас внесут трубки» или «Где наша еще не пропадала?». Так совместными усилиями создавалась дружеская атмосфера отверженности и веселой безнадеги.

Есть мнение, что круг поэтов «Московского времени» из корысти в последние двадцать пять лет преувеличивает меру своего социального отщепенства: почти у всех из нас, кроме, кажется, Сопровского, были считаные (по две-три) публикации в советской печати. Я не вижу здесь двурушничества. Все мы — пусть в разной мере — были поэтами традиционной ориентации. Помню, как через третьи руки мы перво-наперво передали экземпляр своей машинописной антологии Арсению Тарковскому, наиболее для нас авторитетному поэту из современников. Он вернул ее, поставив Цветкова выше прочих. (Вот ирония — Цветков и тогда, и по сей день единственный из нас совершенно равнодушен к Тарковскому.) Но ведь и лучшие образцы печатной поэзии той поры (Мориц, Межиров, Кушнер, Чухонцев и проч.) встраивалась в классическую традицию. Мы понадеялись, что наши стихи тоже могут быть напечатаны — оказалось, не могут. Кстати, пятнадцать лет спустя, когда вверху началось какое-то потепление и брожение, я для себя решил, что было бы позой и надрывом проигнорировать «ветер перемен», и методично разослал по редакциям московских журналов свои стихи. И получил отовсюду дремучие отказы («Стихи вас учить писать не надо, но вы пишете черной краской…» и т. п.), и успокоился, и зажил, как жил всегда, пока те же редакции сами не стали мне

предлагать печататься.

Лучшим поэтом в нашей компании по праву считался Алексей Цветков, но главным, если не единственным из нас *деятелем культуры* был Александр Сопровский. Ему и Казинцеву принадлежала мысль выпускать антологию «Московское время». Мне-то по разгильдяйству и инфантилизму вся затея казалась «игрой во взрослых». Боюсь, что Кенжеев и Цветков относились к этому начинанию сходным образом. Тем досадней, что сейчас мы, живые участники былой группы, оказались в каком-то смысле на культурном иждивении нашего покойного товарища, а ему при жизни не перепало ничего. Если не ошибаюсь, именно редакционная тактика «Московского времени» стала первой в ряду причин, приведших к разрыву школьной дружбы Сопровского и Александра Казинцева. После эмиграции Цветкова в 1974 году Казинцев убедил своего друга и соредактора не включать стихов эмигранта в очередные выпуски антологии. Сопровский скривился, но послушался этого «здравого» совета; следом за ним — и мы с Сашиной женой Татьяной Полетаевой и Кенжеевым. Саша был человеком безрассудной смелости и неосмотрительности, но, как сказал один знакомый, «всякий раз, когда я веду себя не как интеллигентный человек, я веду себя хуже интеллигентного человека». (В справедливости этой истины многим интеллигентам еще предстояло убедиться на собственном опыте двадцатилетие спустя в перестройку, когда мы почему-то, возомнив себя «политиками», перестали мерить людей и события на свой сословный аршин — мерой вкуса.)

Я только что помянул отвагу и неосмотрительность Сопровского. Вот, к примеру, очень сопровский случай. Антисоветчиками и «пещерными антикоммунистами» были мы все. Но основательный Саша решил ознакомиться с первоисточником и толком проштудировать Ленина. Темно-красные тома из полного собрания сочинений приносил сыну отец из библиотеки Центрального дома Советской армии — он работал там шахматным тренером. В указанный срок Александр Зиновьевич сдавал их обратно, но уже с красноречивыми — вплоть до матерщины — сыновними пометами на полях. Кто-то из очередных читателей-ленинцев остолбенел и забил тревогу. Установить авторство маргиналий было делом техники. По-моему, это ребячество стоило Сопровскому высшего образования: его, отличника и старосту группы, отчислили с последнего курса исторического факультета МГУ под предлогом троекратно не сданного экзамена… по истории партии.

Произошло это изгнание в 80-е годы, а в 70-е мы с Сопровским из-за невинной «аморалки» (невинной до смешного

— когда-нибудь, может быть, опишу) вылетели с филфака: я с дневного на заочное отделение, а Саша — с заочного вообще на улицу.

А помимо литературной жизни с диссидентским душком была и собственно жизнь: страсти-мордасти, разъезды, набиравшее смысл отщепенство. Разъезды вспоминаю с удовольствием и даже не без некоторой гордости. По семейному воспитанию я не должен бы впасть в «босячество», а вот поди ж ты.

Я был на Мангышлаке со стороны Казахстана и любовался зеленым прибоем Каспийского моря. Я в одиночку объехал на попутках «подкову» Памира, как она видится на карте. Я мельком проехал весь Северный Кавказ и готов засвидетельствовать, что строка «И солнце жгло их желтые вершины.» применительно к Дагестану — не романтическая выдумка. С одной из таких лысых желтых вершин я однажды свесился: снизу доносились тихие, но звонкие звуки аула, а вровень со мной, паря и косясь на пришлеца, скрежетала оперением какая-то огромная птица. В течение нескольких месяцев я был рабочим сцены Театра им. Моссовета и вплотную наблюдал театральный быт: одна гардеробщица жаловалась другой, что с Фаиной становится невозможно работать. (Имелась в виду Раневская.) Ездил с этим театром на гастроли в Новосибирск и Омск. Одичав за три месяца на Чукотке от матерной мужественности, я чуть было не расчувствовался вслух перед напарником по маршруту, когда мне показалось, что и его пробрало от вида сопок, тундры и снова сопок — аж до Аляски. Но он опередил меня возгласом: «Как же я соскучился по пиву!» С закадычным другом Алексеем Магариком мы, в забвенье техники безопасности, скатились к Вахшу, и нас развеселило и обнадежило название приречного кишлака — Постакан. И всякое такое.

Чего в подобном времяпрепровождении, растянувшемся на десятилетие, больше — плюсов или минусов? Не знаю. С одной стороны, я мало читал, потому что занимался низкоквалифицированным трудом, вместо того чтобы провести целое десятилетие за книгой. Но я надеюсь, что есть и другая сторона. Мне нравится, когда наш литературный треп с профессором Жолковским за кофе у меня на кухне перебивает сдавленный звонок с зоны: это от нечего делать надумал попиздеть мой приятель-уголовник, который жмет «отбой», не простясь, потому что в бараке начался шмон. Моя похвальба требует пояснения. Я прожил жизнь в ширину, а для глубинного измерения в моем распоряжении был я сам — с меня и спрос. Для писателя, каким я мечтал бы стать, такой образ жизни, может

быть, и не плох. Все, что я повидал «в людях», я повидал в роли дилетанта. Мою прямую работу — таскать тяжести, разбивать лагерь, рыть землю и бурить ледник — профессионалы-ученые делали лучше меня. Но в таком стороннем, не вконец профессиональном взгляде, мне кажется, тоже что-то есть. Мне кажется, я научился чувствовать и ценить это и в литературе, как примету какой-то человеческой и правильной уязвимости и незавершенности.

* * *

А в зимние и демисезонные месяцы я сторожил или дворничал. Мой участок, вернее — полтора, находился на Трифоновской улице. Полтора участка я взял из простых арифметических соображений (как-никак год проучился в математическом классе): за полтора участка платили 90 рублей, а штрафовали за неубранную территорию на десятку. Нет, все-таки я не отпетый свидригайлов, каким иногда хочу казаться, — кое-что я делал. Симпатичная разбитная тетка, техник-смотритель, при моем появлении по месту работы приветствовала меня: «Явление Христа народного!» С сотрудницами ЖЭКа мы ходили с получки в ресторан-стекляшку «Звездочка» на ВДНХ. Но через какое-то время я оставался за столиком в одиночестве: моих раскрасневшихся от красненького коллег увлекали в пляс чернокожие студенты.

Помимо заработка я польстился на жилье по «лимиту». Будто бы дворникам полагалось. Но после неоднократных моих напоминаний меня привели в барак с прогнившим полом и без удобств. Нет, не такой виделась мне мансарда поэта!

* * *

Жарким летним днем 1974 года наша подруга, поэтесса Маша Чемерисская, Цветков и я шлялись по Москве в соображении выпить. Последней слабой надеждой оставался пивной подвал в Столешниковом переулке. Обычно туда было не пробиться, время от времени в давке на лестнице случались потасовки, но на этот раз народ валил в обратном направлении: в пивной прорвало водопроводные трубы. Мы окончательно сникли, и вдруг Алешу в толчее обозленных выпивох очень по-свойски окликнул забулдыга-бородач в расстегнутой на груди рубахе, простецких штанах и сандалетах на босу ногу. О неправдоподобном (умело

подчеркнутом мужицкой бородой) сходстве с Емельяном Пугачевым я догадался позже, а пока довольствовался вполне идущим к облику незнакомца именем собственным. Аркадий Пахомов.

Он умер прошлым маем неполных 67 лет в беспросветном бытовом запустении, никого своей горькой долей не донимая. Я любил и ценил его. Мы тесно дружили десять лет, пока невозможность совмещать слишком лихую дружбу с бытом семьянина не понудила меня в явочном порядке свести ее на нет. Удивительно не мое поведение — оно как раз элементарно: инстинкт самосохранения не нуждается в объяснениях; удивительны Аркашины великодушие и гордое достоинство, с которыми он, видимо, раз за разом уходил с пути своих более приспособленных к выживанию товарищей, избрав одинокую участь, сродни многолетнему свободному падению.

Эпитет «гордое» привел мне на ум сам Аркадий. Трижды или четырежды, показывая мне фотографию четверых смогистов в молодости, он неизменно добавлял, что за миг до съемки смахнул с плеча дружески-покровительственную руку то ли Алейникова, то ли Губанова. Думаю, что именно гордыня предопределила его трагическую судьбу. В отроческом максимализме, вероятно, имелось в виду, что Его Жизнь будет прожита на «десятку» по пятибалльной системе, в худшем случае — на «семерку». А когда оказалось, что не задается, гордость в обличье русской забубенности велела вообще уйти в минус, лишь бы остаться самым-самым. Вместе с тем он был талантлив, весел, зверски обаятелен, здраво-умен, верен в дружбе, пренебрежителен к собственному успеху/неуспеху, насмешлив к чужому. Смолоду он чуть-чуть посидел в Бутырках за маленькую пугачевщину: прошел по улице Горького от Красной площади до Пушкинской, круша витрины справа по ходу. Чуть-чуть, потому что отец-телевизионщик подключил свои связи.

Его стихи сильней всего действовали в его же исполнении и через стол, уставленный бормотухой: в них много таланта — и мало расчета. С присущим ему размахом он делился друзьями, хотя здесь осмотрительная ревность не менее распространена, чем слепая ревность любви. Он сдружил меня с поэтом и химиком Владимиром Сергиенко — и через тридцать пять лет мы с ним бок о бок шли за Аркашиным гробом. Познакомил с Леонидом Губановым. Знакомство продлилось считаные часы, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы заночевать в милиции. Он свел с Александром Величанским, одним из самых страстных и самоотверженных авторов русской поэзии конца XX столетия. Сблизил с Юрием Кублановским. Это знакомство оказалось

продолжительней и содержательней, чем с его коллегой по СМОГУ — Губановым. В 1975 году мы с Юрой сезон проработали гидами в Кирилло-Белозерском монастыре, а в 2007-м Кублановский сводил меня на кладбище Булонь-Бьянкур на могилу Владислава Ходасевича. После чего мы поехали почти наобум в северном направлении, и Юра внезапно велел своей жене свернуть по дорожному указателю на Бель-Иль. Из его коротких объяснений спутники поняли, что по картине Клода Моне «Скалы в Бель-Иль» Кублановский лет сто назад писал то ли курсовую, то ли диплом. Красиво жить не запретишь.

И все это как-то связано с Аркадием Пахомовым, земля ему пухом.

Не промолвлю я ни слова
и к руке не припаду,
в Новый год и в Старый Новый
не приеду, не приду,

с плеч твоих не сброшу иней,
чтобы таял он в горсти,
никакой во мне гордыни —
что ты, Господи прости…

Я свою гордыню прожил,
как в ангине, как в бреду,
как во сне прожил и все же
не приеду, не приду,

лучше будет или хуже —
не положишь на весы,
слишком сам себе не нужен
я в последние часы.[7]

* * *

Летом 1974 года уехал Цветков. А мог и не уехать, если бы не случилось чуда, к которому и я приложил руку. Мы с Сопровским поджидали Цветкова, когда он вышел из центрального ОВИРа в Колпачном переулке с портфельчиком бумаг, необходимых для пересечения границы. Оказалось, что после уплаты пошлины и проч. осталась немалая сдача. Мы втроем распорядились этой суммой так хорошо, причем совсем неподалеку, в окрестностях

Покровки, что уже в сумерках хватились портфельчика. Для того чтобы достоверно описать состояние Цветкова, нужны куда большие литературные способности, чем мои. Но нашел портфельчик я! В темноте! Во дворе за углом! За лавочкой у песочницы!

На проводы Цветкова я заявился в пионерском галстуке. Мне это показалось смешным, но кто-то из присутствующих попросил меня убрать эту гадость с глаз долой, и я не стал упорствовать. Пионерский галстук был у меня при себе тем летом, потому что для восстановления на заочном отделении филфака я должен был трудом загладить свою вину. Я поработал три смены пионервожатым, получил хорошую характеристику, вину загладил. Но вскоре провинился снова, и сам виноват.

В отрочестве я совершил, помимо прорвы обычных подростковых грехов, два по-взрослому шкурных поступка: стал русским по паспорту и вступил в комсомол. Меня в какой-то мере извиняет, что и то и другое я сделал, вовсе не имея в виду облегчить себе карьерный рост, а по понятному желанию недоросля казаться старше. А тогда носилось в воздухе, что старше — это циничней. С тем же намерением я через силу заставлял себя курить, материться и звать на «ты» и «командиром» седоголового таксиста. Но оба «конформизма» вышли мне боком — «выбор свободен — последствия предопределены», как говаривал Сопровский. За мою расторопность с национальной самоидентификацией я получил словесную «пощечину» от любимой учительницы. А за принадлежность к ВЛКСМ — оплеуху вовсе не чувствительную в нравственном отношении, но чуть не притормозившую мой «карьерный рост». Дело в том, что я сильно задолжал комсомолу: не платил членские взносы несколько лет. А когда вопрос встал ребром, вежливо попросил факультетское комсомольское начальство отпустить меня подобру-поздорову, зачем-де им такой член, который ни холоден ни горяч. И в ответ мне глянуло такое глумливое хулиганское изумление, такой меня одарили широкой дворовой улыбкой — включите телевизор: мимика и повадки национального лидера избавят меня от многословия. И дали мне знать комсомольцы, что от них по доброй воле не уходят, а горе-добровольцев вроде меня они исключают с треском и со всеми вытекающими…[8] И шестерни пришли в движение, и несчастные мои родители из последних сил на одном из оборотов застопорили этот кафкианский агрегат.[9] Словом, я снова вышел сухим из воды, восстановился на заочном и подошла пора писать диплом.

Как и полагается студенту-заочнику, я работал. Причем на

этот раз профессия была вовсе не люмпенская, а традиционно чтимая. Почти два года я был школьным учителем словесности и уже не понаслышке преисполнился искреннего уважения к этому труду, в том числе и потому, что он мне не дался.

За полтора года учительства я сделал кое-какие умозаключения, которые и поныне при мне. На тридцать-сорок человек в классе считаные единицы от природы хороши или плохи. (Один маленький антисемит, которому я в назидание сказал, что и я еврей, испуганно заморгал глазками и пролепетал: «Сергей Маркыч, я евреев сильно уважаю. Они в войну во как жили!» — и поднял большой палец кверху.) Почему тогда плохие взрослые встречаются чаще, чем скверные дети? Жизнь укатывает?

И еще одно наблюдение, которое хочется распространить и на взрослый мир. В учительской только и разговоров, какой ужасный 6 «А» и какое золото 6 «Б». Но и умниц, и шпаны, и серединки на половинку и в том и в другом классах примерно поровну. Видимо, в одном классе погоду делают умницы, а в другом — шпана, а остальные приспособились к уже существующему климату.

Диплом, однако. В детстве родители думали приписать меня к биологическому ведомству на том основании, что я неравнодушен к животным; будто нельзя любить собак и при этом совершенно не интересоваться устройством их желудочного тракта. Так и здесь. Никаких особых литературоведческих интересов за мной тогда не водилось. Просто мне нравилось читать, а потом развилась собственная литературная «железа», чья жизнедеятельность для меня довольно темна. При чем здесь филология?

И я спросил совета у своего гуру Сопровского.

«Пиши про символизм, — сказал он, — у них с образностью что-то не так и вообще приятного мало».

Мы были сторонниками наглядной поэзии: зелены щи с желтком, темное стадо грачей, роза в кабине рольс-ройса. А всякие смутные паренья, напевы встающих теней и прочие вихри враждебные нас бесили.

И вот с таким смутным Сашиным напутствием я стал ходить в библиотеки: сперва в Ленинскую, потом — в Историческую, а после осел в Театральной на бывшей Пушкинской улице. Читальня была малолюдной, но бедной не была. Там я сидел неделями, листая и почитывая «Весы», «Аполлон», «Мир искусства». Понемногу вошел во вкус, тетрадь моя за 90 копеек сделалась пухлой и рыхлой от частого перелистывания в поисках нужной цитаты. И страницы, густо исписанные шариковой

ручкой, приобрели несколько гофрированную на ощупь фактуру. Сейчас слабо верится, что я одолел «кирпич» «Символизма» Андрея Белого, а заодно братьев Шлегелей, «Столп и утверждение истины» о. Павла Флоренского и много чего еще. Словом, я увлекся всерьез, и мне мои штудии доставляли радость. Я уже видел с досадой, что превышаю объем чуть ли не вдвое, но остановиться было выше моих сил. И название мне сильно нравилось — «Некоторые противоречия этико-эстетической концепции символизма». Коротко и ясно. Научно.

Дипломная работа уже давно запропастилась куда-то. Думаю, филология эту потерю переживет. Но меня, помню, радовало, что это не школьная рутинная критика символизма слева, а критика с позиций стоящей поэзии — взгляд живых цветов на бумажные.

От исследовательского азарта я не удосужился поинтересоваться, как их, эти дипломы-то, у них принято писать. Совершенно не помню руководителя. Но я славно потрудился, сдал увесистую машинопись в срок и чувствовал себя молодцом. И, чего уж греха таить, держал в уме, что случается, редко, но случается, когда дипломная работа приравнивается к диссертации. Но как-то в факультетском буфете за несколько дней до защиты я поймал на себе странный взгляд декана (он брал кефир с подноса, а я стоял в конце очереди). Так непрязненно-внимательно вряд ли смотрят на восходящую звезду науки. Такой взгляд скорее предполагает словосочетание «ну и ну.». И я начал с тревогой заглядывать в библиографии сокурсников, вернее, сокурсниц — филфак как-никак. А там во главе списка — Маркс, Ленин, Горький. Энгельс, Ленин, Луначарский. Маркс, Горький, Метченко. А у меня, умника, — Шлегель, Флоренский, Шестов.

На защите царила загадочная атмосфера. Меня трепали, но как-то вполсилы, будто другая половина негодования висела в воздухе, но предназначалась не мне. Так отец, воротясь домой, жучит ребенка, уделавшего манной кашей ему компьютер, но ноздри раздувает в адрес жены, прилипшей к телевизору в соседней комнате. И после вялой выволочки меня отпустили во взрослую жизнь с «четверкой» и формулировкой «оценка снижена за порочную методологию».

Вероятно, одна вторая раздражения предназначалась себе самим и друг другу. За недосмотр. За головотяпство и халатность. Телега из милиции была? Была. История с комсомолом имела место? Имела. Хвосты и пересдачи тянулись за ним с курса на курс? Еще как. Неужели за семь-то лет трудно было избавиться от этого гуся лапчатого? А теперь что? Ставить ему «два» прямо на защите? А это уже ЧП. Да и «тройка» за дипломную работу — на

свое дерьмо с топором, как говорится.

Но, может быть, я демонизирую этих людей и они злились действительно на себя, но по другой причине. Прогульщик-то оказался неглупым, трудоспособным малым, а мы не сумели найти к нему подход — обучить верной методологии. Ведь во время изгнания меня из комсомола после положенных речевок («За этот билет! на Даманском! наши ребята!» и т. п.) прозвучала фраза, от которой я немножко охуел. Как бы снимая с меня часть ответственности за случившееся, кто-то из-за стола под зеленым сукном сказал: «Вообще на филфаке комсомольская работа поставлена из рук вон плохо». Эти белоглазые ребята что, и вправду думали, будто увеличение количества и качества политзанятий, слетов и юморин перевесили бы детство, отрочество, юность, маму-папу, Достоевского и Сопровского? За кого они нас держат?! Кто же нами правит?! Всякий раз после считаных моих встреч с работниками зловещего ведомства я испытывал чувство стыда за собственный трепет и какого-то разочарования: ждал иезуита, а наткнулся на дурака.

Лучше надо было читать Федора Михайловича. Иван Карамазов был оскорблен в гордости и эстетических чувствах — какой пошлый ему достался черт!

А тем временем мы с Сопровским пришли ко мне домой к накрытому столу, а там уже были в сборе родня и друзья семьи, и все меня тискали и мяли, и ближе к вечеру перебравший на радостях отец перебивал и перебивал галдеж застолья горделивым восклицанием: «За порочную методологию!» А мама светилась.

* * *

Как-то по касательной я поработал гидом в московском музее «Коломенское». Запомнилась идиотка, написавшая на меня донос, что я читаю и распространяю порнографическую книгу «Лолита». Дело замяла директор музея — Юлия Серафимовна Черняховская. Там же я сдружился с искусствоведом Галей К., очень добрым, тонким человеком и талантливой художницей. Она написала удачный портрет Сопровского: точно схвачена Сашина гримаса — смесь ума и шкодливости. Она пила по-мужски и нехорошо — оставляя себе на утро. Ее уже нет в живых.

Вообще, на моей памяти, пили — и серьезно — все: обшарпанная богема, рабочие сцены, экспедиционные рабочие, научные сотрудники музеев, столичных и провинциальных. С кем бы я ни знался, помню черное пьянство, при своем, само собой,

участии. Сейчас, когда я застаю наутро после сборищ моих взрослых детей бутылки с недопитыми водкой и вином, я искренне недоумеваю. Все спиртосодержащие жидкости, включая одеколоны, истреблялись подчистую. Нам с Сопровским чудился какой-то апокалиптический пафос в этом повальном алкоголизме «от Москвы до самых до окраин», и роль забулдыг пришлась нам по вкусу. Нам нравилось, какие мы отпетые: скверно одеты, неухожены, умеем часами изъясняться исключительно матерными междометиями и прибаутками, способны пить что попало и где попало под мануфактуру. Позже выяснилось, что мы своим умом дошли до эстетики панков. Как-то мы с Сашей брели по улице: ноябрь, слякоть, многодневное похмелье, ни копейки денег. У служебного входа в продуктовый магазин нас окликнули, поманили и без вступлений и «пожалуйста» показали, какие ящики надо сгрузить с машины, куда занести и где составить. За труды дали по трояку, что ли. Мы вышли, переглянулись и польщенно рассмеялись. Когда я совсем одурел от этой эстетики, мне дали адрес литовского хутора Лишкява, двадцать минут автобусом от Друскининкая. Шел декабрь.

Хозяйка, старуха Антося Вечкене, в несезон привечала всяких неприкаянных художников от слова «худо». Они и передавали ее по цепи — наблюдался симбиоз. Была она по-крестьянски неглупой, нежадной, любила выпить по маленькой и поговорить с акцентом. Она звала меня паном Гандлевским. Я натирал ей больную жирную спину каким-то снадобьем, мы в четыре руки ставили клизму «поросенке» (оказавшемуся здоровенной свиньей) — жили душа в душу. Из вечерних ее россказней я узнал, что муж-покойник благодаря субтильному сложению всю войну проходил в женском платье, чем спасся от мобилизации (а в какую армию — советскую или немецкую — я забыл), но пострадал за связь с «лесными братьями». Нагрянувший на выходные сын Йонас был уже совершенно понятный советский балбес: нажравшись и желая показаться цивилизованным современником, а не литовской деревенщиной, орал «Че-е-ервонец в руку и шукай вечерами» — портил мне изгнаннические настроение. Как-то я уехал в Вильнюс к приятелям на два дня, а вернулся через пять, помятый, и хватился паспорта. Антося вынесла мне его из подпола в жестянке из-под леденцов — рефлекторно прикопала сразу по моем исчезновении. Я подивился партизанским навыкам добродушной хозяйки.

Там и сям по хутору слонялись неразговорчивые деды. Изредка мы с ними угощались за сельпо ромом «Habana-Club», деды делались разговорчивей, а когда я хвалил их русский, хмыкали: «В Сибири хорошо учат». Я делал понимающие глаза и

вздыхал. Звали их всех Саулюсами.

Хутор стоял на высоком берегу Немана. Зима была бесснежной, и я впервые узнал, что ледоход не только весеннее, но и осеннее явление природы. От нескончаемого шествия разнокалиберных льдин трудно было оторвать взгляд. Большой костел XVIII столетия белел на отшибе, усугубляя приятное чувство чужбины. Короткими зимними днями я шлялся и рифмовал, а в темное время суток читал или болтал с Антосей за кальвадосом, отвратительным пойлом, которое я покупал исключительно за мужественную красоту названия. Раз я брел сосняком и споткнулся о камень, торчащий из схваченного морозом мха. Заметил, что похожих камней густо понатыкано вокруг. Присел около одного и узнал буквы еврейского алфавита. Кладбище. Вечером Антося сказала, что до войны хутор был смешанным — литовско-еврейским. «И всех немцы?» — спросил я. «Зачем немцы? — ответила она. — Свои. С которыми пан выпивает». У меня целая коллекция таких идиллий с похабным секретом внутри.

По возвращении из Литвы я уволился из «Коломенского», филонил до апреля, а в апреле устроился экспедиционным рабочим в Памирский гляциологический отряд при Академии наук и до осени работал на леднике Медвежий в верховьях Ванча.

* * *

От тех лет осталось еще одно чудесное воспоминание. Бахыт Кенжеев, Алексей Магарик — виолончелист, мачо и преподаватель иврита — ну и я надумали обогатиться и поехали в октябре в Карелию — собирать бруснику на продажу. Запаслись на почте картонными коробками для посылок, чтобы доставить в Москву ягоды в целости и сохранности, и поехали. Сошли за Медвежьегорском на станции Сег-озеро — я бывал там уже. Местный мужик за небольшую плату на моторке с плоскодонкой на прицепе свез на один из островов, весельную лодку оставил нам и распрощался на неделю. Я опасался подвоха от Кенжеева, которого считал совершенно городским и не приспособленным к дикой жизни человеком. Но обманулся: Бахыт ловко стряпал, собирал ягоды куда лучше меня и вообще пришелся кстати. Подвел главный ковбой — Магарик, слегший на второй день островной жизни с ангиной и высокой температурой. Так он и провалялся всю неделю в щелястой охотничьей избенке на нарах у железной печки. Правда, когда накануне отъезда в сумерках мы с Бахытом подплывали к острову, увидели на берегу нашего

заливчика Магарика. Он стоял почти в беспамятстве рядом с полным ведром брусники.

Было хорошо: кроткое немолчное всхлипывание воды в прибрежных валунах, крикливые караваны гусей высоко в небе, славные товарищи, уединение. Вечерами при свете керосиновой лампы читали вслух «Записки русского путешественника» — не Карамзина, а Владимира Буковского, нашего тогдашнего кумира.

Но таких просветов становилось все меньше; то ли мы делались старше и мрачней, то ли снаружи сходили на нет последние признаки жизни. Когда я вспоминаю рубеж 70-80-х, мне вспоминается все больше не объективное время года, а сплошной ноябрь — месяцев десять в году стоял ноябрь.

* * *

В эту пору у нас у всех — и ближайших товарищей, и шапочных знакомых — начались треволнения с карательными органами. Здравый Пригов объяснял наше попадание в поле зрения госбезопасности тем, что главные сорняки-диссиденты были уже прополоты — отправлены в лагеря, психбольницы или выдворены за границу и настал черед поросли помельче — вольнодумцев из дворницких и котельных. Поподробней скажу о Дмитрии Александровиче Пригове, раз уж я упомянул его.

В эти годы особую для нашего дружеского круга притягательность обрела съемная квартира Бахыта Кенжеева. Здесь можно было разжиться «тамиздатом» (жена хозяина, Лаура Бераха, была иностранкой); здесь же по-преимуществу завязывались и новые знакомства: это уже благодаря общительности и добродушию самого Бахыта. Иногда его общительность и добродушие выходили боком, например, он привадил К., румяного боксера тяжелого веса и филолога, исключенного из Тартуского университета чуть ли не за воровство библиотечных книг, а в описываемое время — ленинградского репетитора, предпочитающего натаскивать по родной словесности старшеклассниц поромантичней да подоверчивей. О нем ходили нехорошие слухи. Когда мы с Сопровским спрашивали Кенжеева, что тот в К. нашел, простофиля Бахыт горячо вступался за нового приятеля и сравнивал его с Митей Карамазовым. Митя так Митя. Как-то мы с ним спешили в ноябрьских (!) сумерках за спиртным. Не помню уже, о чем шел разговор, скорей всего, обычный параноидальный о КГБ — о чем же еще, но вдруг «Митя» приобнял меня и сказал: «Какая сила, а? Как, наверное, тянет быть с ними». Впоследствии

выяснилось, что К. и впрямь был «с ними»; сейчас он вроде бы уже умер. Но, если не считать единичных курьезов, благодаря радушию Кенжеева перезнакомилось немало всякого народа, иногда экзотического. Однажды я застал на его квартире Евгения Рейна, Пригова и… Якова Маршака, известного ныне нарколога («Клиника Маршака»). Подробностей вечера не помню, но недели две спустя отец постучал в мою комнату (мы жили тогда на «ЮгоЗападной») со словами «к тебе». С недоумением я вышел в прихожую, в дверях стоял Пригов. Мы стали приятельствовать, тем более что жили по соседству; мне, собачнику, хочешь не хочешь приходилось гулять, а он любил пешие прогулки и со своей хромой ногой делал большие концы чуть ли не ежедневно.

Сказать про него, что он был сильный человек, — ничего не сказать. Из него, если вспомнить образ Николая Тихонова, получились бы отменные гвозди. Человек нечеловеческой воли. Вот маленький пример. Сын его вернулся из школы и рассказал, что один одноклассник умеет отжаться от пола сколько-то десятков раз. Через полгода Пригов (с детства очень нездоровый человек!) отжимался 104 раза! Я запомнил цифру, потому что увязался за ним, но дальше 30 отжиманий у меня не пошло. И так во всем, особенно в деле всей жизни — в искусстве. Он рассказывал, что когда решил стать автором, перво-наперво прочел в Библиотеке Ленина всю доступную поэзию. Пугающая серьезность. А наряду с этим — завидный артистизм. Его внук (речь идет уже о XXI столетии) не любил, когда ему читают стихи, зато интересовался древними ящерами. Но дед убедил его, что не все стихи безнадежно скучны, есть и любопытные:

Богат и славен динозавр.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы, —

и так — до конца поэмы. Или:

Мой птеродактиль, честных правил,
Когда не в шутку занемог…

Я помню двух Приговых. Первый — частный человек, сама корректность. Именно поэтому его, а не Сопровского я попросил в 1983 году стать свидетелем на моей свадьбе (Сопровский мог и подвести, как проспал он отлет Цветкова). Протестантская бытовая этика: они с женой воспитали с младенчества и

поставили на ноги чужую девочку. Бессребреничество и готовность помочь деньгами. Сдержанность анекдотическая. Можно было столкнуться с ним лицом к лицу в парадном N, но бессмысленно было задавать (бессмысленный, впрочем) вопрос, не от N ли Дмитрий Александрович идет. «Обстоятельства привели, Сергей Маркович», — ответил бы он. И вероятно, как следствие — решительное неучастие в знакомстве между собой людей из разных компаний, притом что он был вхож в самые разные круги артистической Москвы, и не только Москвы. (Та же странная особенность, как я узнал из мемуаров, была присуща Иосифу Бродскому.) Зато Пригова не могли заподозрить в распространении сплетен. Изо дня в день он, как на работу, ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням, салонам и т. п., расширяя свою культурную осведомленность и методично внедряясь в современный «культурный контекст» (говоря о нем, я и перенял оборот его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму «текстов» и рисовал — тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил курить. И так из года в год. Такое у меня сложилось впечатление.

Второй Пригов появился внезапно — с внезапным появлением новых соблазнов и возможностей в конце 80-х. Дмитрий Александрович шел к цели в забвенье кружковых сантиментов, вкусов и традиций. Щепетильный в этих вопросах и прямой Сопровский с недоумением охладил с ним отношения, я — следом.

Годы спустя, когда я спохватился, что главная досада моей жизни не в том, что кто-то из моих близких не соответствует созданному мной образу, а в том, что меня, такого, какого хотелось бы, нет и уже не предвидится; когда заявило о себе пристрастное отношение к своему поколению; когда у меня стало изредка получаться смотреть на людей с поправкой на нашу общую стопроцентную смертность, я попробовал, правда без особого результата, наладить с Дмитрием Александровичем подпорченные отношения.

Еще в пору приятельства в разговоре у него на кухне он сослался на притчу Кафки о страже костра (не помню такой) — и сравнил себя с этим стражем. Думаю, что эта «аскеза» кое-что объясняет. Он, в отличие от многих — меня, например, — ни на йоту не верил в кривую, которая сама вывезет, и вообще был абсолютно убежден, что само никогда и ничего не получается — это против природы вещей, и удача берется только натиском. «Время — честный человек» — мудрость явно не его арсенала. Успех был для него не суетой, а делом жизненной победы или поражения.

Теперь Дмитрий Александрович лежит на Донском, по случайному стечению обстоятельств — в десяти шагах от стены с нишей, где покоится прах моих родителей. Два-три раза в год по дороге к ним я задерживаюсь у его могилы.

* * *

Я начал рассказывать о нервотрепке с КГБ. Я намеренно употребляю такое прозаическое слово, потому что по большей части дело ограничивалось щекотанием нервов. Или порчей крови, если говорить о реакции моих родителей. Но не всегда. Арестовали знакомого прозаика Евгения Козловского. Кое у кого проходили обыски. (У меня обыск был в мое отсутствие. Родителей, детство которых пришлось на террор 30-х, удивило, что шофер орал на кагэбэшников, когда те не уложились в его рабочий день.) Человек десять-двенадцать литераторов, включая всю нашу компанию, вызывали на Лубянку подписывать прокурорские предупреждения — было такое средство острастки. [10] В аэропорту в Тбилиси подбросили наркотики, судили и посадили Алешу Магарика. Сперва в сравнительно опереточный лагерь в Цулукидзе. А потом — в чудовищный, в промзоне Омска. Начальник грузинского лагеря разрешил мне свидание, при условии, что я достану ему «заебательские записи Высоцкого». Но уже в Омске у жены Магарика не приняли сгущенное молоко, потому что оно. полезное.

С одной стороны, преследования страшили, с другой — придавали значимости в собственных глазах, и сообща и врозь. Одержимый бесами культуртрегерства и протеста, Сопровский поехал на переговоры к Виктору Кривулину в Ленинград. На обратном пути Сашу задержали: оцеплен и прочесан был весь Ленинградский вокзал. Дотошный Кенжеев подсчитал, что операция по задержанию грузного похмельного бородача встала КГБ в 8000 рублей, притом что сам задержанный от случая к случаю зарабатывал 70 рублей в месяц. И с деньгами, и с этим самым «от случая к случаю» тоже была беда: разрыв трудового стажа более четырех месяцев квалифицировался как тунеядство. Тунеядство каралось законом. В общем — обложили.

* * *

Заработок и социальную защищенность могло обеспечить занятие поэтическим переводом. Людям молодым или в возрасте,

но далеким от этого ремесла, возможно, понадобятся кое-какие разъяснения. Чтобы перейти от слов к делу, официальной доктрине дружбы советских народов нужна была целая индустрия художественного перевода. С языка переводили редко — чаще по подстрочнику. Подстрочники поэтов — армянских, туркменских, якутских и проч. — распределялись издательствами, в каждом из которых существовал определенный план по выпуску национальных литератур. Рядовому редактору важно было иметь трех-четырех «своих» переводчиков, на профессионализм которых он мог положиться; среди них в первую очередь и распределялись заказы. Естественно, эти авторы ревниво и бережно относились к работе, потому что, вообще-то говоря, она была синекурой: жить вольным художником и попутно зарабатывать очень неплохие деньги. Поэтому протиснуться к кормушке перевода было совсем не просто. Ни о каком выборе для новичка не могло быть и речи: бери что дают и говори «спасибо». Перевод вообще по умолчанию считался зоной имморализма. Тихий лирик мог переводить вирши, исполненные казенного оптимизма, до которого он не опустился бы как оригинальный автор и в страшном сне. Оправданием служило, что это всего лишь перевод. Чтобы не тратить лишних слов на опровержение этой демагогии, сошлюсь на Евангелие: «…надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит». Нынешний уровень начитанности позволяет назвать такое положение вещей банальным злом, пусть и довольно мелким. (И здесь у меня рыльце в пуху: один раз под моей фамилией вышли какие-то осетинские агитки 20-х годов.)

Но это — каверза именно советского промышленного перевода поэзии. Была, есть и будет и другая трудность, почти непреодолимая и присущая поэтическому переводу как таковому. Всякий пишущий человек знает, насколько велика доля наития и даже случайности в поэтической удаче. Не в последнюю очередь как раз авторское изумление перед «сюрпризами» собственного труда и делает предсказуемые куплеты поразительными стихами; трепет поэта передается и чуткому читателю. Вероятность, что переводчик вручную и сознательно воспроизведет однократное счастливое стечение языковых обстоятельств, исчезающе мала. Поэтому сильных переводных стихотворений на порядок меньше, чем оригинальных. В отличие от политики, полноценный поэтический перевод — искусство теоретически невозможного. И вот в эту-то, и без того далеко не бесспорную, тонкую и зыбкую, область словесности советское издательское дело вломилось, будто слон в посудную лавку, — с прямолинейностью и слепотой, характерными для утопии. Требования, округленно говоря,

упростились донельзя: наловчиться излагать гладкой силлаботоникой любое содержание, по большей части навязшее в зубах. Девять десятых произведенной таким способом рифмованной продукции можно было, минуя книжные магазины, отправлять в цех по переработке макулатуры — для участия в новом полиграфическом цикле.[11]

Но и здесь были свои артисты и ремесленники. Маэстро перевода Семен Израилевич Липкин рассказывал, как какой-то национальный поэт попросил Липкина перевести его. «Но ведь вас переводит N?» — сказал Семен Израилевич. «Он как-то без огонька переводит», — пожаловался поэт. «Не любим мы проституток — блядей любим!» — развеселился Липкин.

Мне кажется, что из меня с годами могла бы получиться неплохая поблядушка. С домами творчества, жигуленком, продуктовыми заказами (венгерская курица, растворимый кофе, салями и гречка) и проч. Да карта легла по-иному.

С версификацией у меня полный порядок: традиционный семейный навык был многократно преумножен буднями казарменного стихоплетства. Похабщина в рифму высоко ценилась в «Московском времени». Сопровский с Цветковым как-то увлеклись и исписали сверху донизу ЖЗЛ-частушками стены одной коммунальной кухни: «У литератора Панаева / Дала Некрасову жена его.» и т. п. Оставалось только найти применение этому нехитрому умению.

Здесь помог единственный до времени лично знакомый член Союза писателей Юрий Ряшенцев, тезка и старинный друг моего дяди. Он поделился подстрочниками и связями. Бахыт Кенжеев с тех пор во всеуслышание считает меня племянником Ряшенцева; перечить бессмысленно.

Решительно, как и с зоопарком в отрочестве, вмешалась мама. Она посетовала на беспутного пишущего сына сотруднице, женщине прелестной и с гуманитарными запросами и знакомствами. Та навела справки и достала телефонный номер профессионального переводчика Юрия Петрова. Дверь мне открыл обаятельный еврей, скорбными складками у рта и крупными ушами напоминающий большую грустную обезьяну. Сразу после приветствия он спросил, согласен ли я выпить водки без закуски, поскольку до холодильника из-за ремонта не добраться (действительно в квартире негде было ступить). Я был согласен. Он просмотрел мои переводы, одобрительно кивнул. Спросил, как у меня обстоит дело с публикациями. Я назвал журнал «Континент». «Это нехорошо», — сказал он без осуждения, будто для справки. Никаких практических предложений, включая выпить по второй, не последовало, и я засобирался. Уже в

прихожей я, как бы извиняясь, признался, что никогда не слышал о нем. «Вообще-то меня зовут Юлием Даниэлем», — сказал хозяин. Вот такого покровителя нашла мне мама.

История имела симметричное и невеселое продолжение. Во второй половине 80-х поэт и журналист Илья Дадашидзе спросил, нет ли у меня лишних подстрочников для Даниэля: тот смертельно болел, и Дадашидзе надеялся отвлечь его работой от мрачных мыслей.

Понемногу, методом проб и ошибок в 1986 году я стал членом профессионального союза литераторов. Мог и не становиться: плановое издательское дело, дружба народов, равно как и уголовное преследование за тунеядство, доживали последние годы.

* * *

Но я забежал вперед. В 1982 году мне стукнуло тридцать. Затянувшаяся молодость пошла на убыль, с нею и легкость. Куража, позволявшего свысока смотреть на бытовую и социальную неприкаянность, становилось все меньше. Неряшливое слово «безнадега» все чаще просилось на язык. В том же году Кенжеев уехал в Америку, Кублановский — в Европу. На мой вопрос старику Липкину, долго ли простоит советская власть, он ответил: «И-и-и, Сережа, об этом вас спросят еще ваши внуки». Засобирался Сопровский, ничего против эмиграции не имел и я. Не помню, как далеко зашли Сашины с женой сборы, но мой вызов пропал, хотя и был послан, судя по трем — раз в полгода — вещевым посылкам от неизвестного голландского адресата. (Зная, что в СССР человек, собравшийся эмигрировать, лишался работы и средств к существованию, какие-то фонды таким способом поддерживали его.)

* * *

В 1983 году я женился. О жене своей я могу говорить долго, поэтому скажу коротко, памятуя о поговорке «Умный хвалится старым батюшкой, а дурак — молодой женой». Лена из той породы хрупких женщин, которые одним прекрасным утром выводят жеребца из стойла и, днюя и ночуя в седле, предводительствуют крестьянской войной. А пока в миру она — керамист, скоро тридцать лет удивляющая меня муравьиным тщанием, трудолюбием и сосредоточенностью. Остатки

неукротимого темперамента Лена тратит на детей, быт, мои художества и презрение к родине. И конечно, большой промах России, что она не сумела заслужить уважения такой благородной и верной женщины. Врожденным чудачеством, прямодушием и неумением приспосабливаться к людям и обстоятельствам она похожа на Сопровского, который меня с ней и познакомил.

Через год после нашей свадьбы в ужасных и долгих муках умерла моя прекрасная мать. Иногда мама снится мне: то мы разговариваем и мне надо скрыть от нее, что она мертва; то оказывается, что она где-то там жива все эти годы, а я по сердечной черствости забываю навестить ее. После таких снов я полдня не могу прийти в себя.

Лишась материнского участия, я тотчас обзавелся жениным, вроде как был передан с рук на руки. Получается, что я ни дня в жизни не был по-настоящему одинок, не знаком, так сказать, с предметом, что бы я там под настроение себе ни выдумывал.

Вскоре появились дети: сперва дочь, потом сын. Через год-другой родственных дрязг, связанных с квартирным вопросом, мы обзавелись своим жильем — двумя комнатами в коммунальной квартире. Наше первое самостоятельное семейное время пришлось как раз на историческую пору — рубеж 80-90-х годов, — и было забавно наблюдать, как в коммунальном коридоре одновременно одевались два отца двух семейств: я — на демонстрацию, сосед-милиционер — туда же, но в оцепление.

Под впечатлением от материнской смерти я надумал креститься. Сам ход мысли не был для меня нов: русская литература, чтение отечественных философов, особенно Льва Шестова, книжная или не очень религиозность друзей и знакомых, наконец собственные раздумья и чувства год за годом делали свое дело. Конфессия была мне безразлична, но недавнее горе повело меня в православную церковь. Моя русская мать, внучка попов, в сущности, прожила свою частную жизнь в положении национального меньшинства (хотя это ничуть не тяготило ее), и мне захотелось взять сторону матери хотя бы теперь. Можно сказать, что я тогда ощутил последний на своем веку всплеск почвеннических чувств.

К нынешнему времени моя религиозность изрядно выдохлась. Причины три, перечислю их в порядке возрастания. Первое. Я так и не сумел освоиться в церкви — невежество мое оказалось непроходимым, а отстаивать службы для галочки неловко. Второе. Я прожил немассовую жизнь. Мои вкусы, поступки, друзья, суждения вряд ли близки и симпатичны большинству. Почему же в такой заветной области земного существования, как

загробные надежды, я должен быть заодно с людьми, с которыми мы не сумели найти взаимопонимания? И последнее, главное. Я не могу смириться со случайностью и бессмысленностью беды, не способен распознать в ней заслуженной кары. Ужасные болезни детей, стихийные бедствия, наобум губящие людей, ничуть не хуже остальных, и т. п. разом выбивают мои мысли из религиозной колеи. Разговоры про непостижимый промысел Божий уместны и оправданны в устах человека, испытывающего вдохновение веры. Но для человека трезвого, вроде меня, они были бы ханжеством и бесчеловечностью под личиной набожности. Лучше, честно и не мудрствуя, сойтись с самим собой, что Бога или нет вовсе, или Он не имеет никакого отношения к здешним представлениям о добре и зле, какими мы живем, пока живы. Иногда мне кажется, что отношения человек/Бог аналогичны отношениям персонаж/автор. В таком случае и у персонажа есть право сказать Автору в свой черный день: «Ужо тебе!»

Это, скорей всего, скверное богословие, но другое мне не по уму. При этом я не материалист: материализм — ничуть не менее фантастическое объяснение мира, чем религия. По всей видимости, подобное умонастроение называется агностицизмом. Пусть так.

* * *

Между тем к власти пришел Горбачев, и наступали новые времена. Поначалу я считал, что уж лучше старые кремлевские маразматики с мочеприемниками, чем моложавый бессвязный говорун. Но внезапно и лавинообразно без видимых причин «тысячелетний рейх» стал осыпаться и оседать. Сперва не верилось, но что-то наконец дошло до меня, когда в 1988 году я увидел в книжном магазине в Бронницах среди букварей и разливанной «угрюм-реки» том Владислава Ходасевича «Державин» (всего несколько лет назад тот же Семен Израилевич Липкин давал мне его на сутки-другие почитать в «тамиздате»). И пошло-поехало! Я перестал жалеть, что мой вызов перехватили, а азартный Сопровский свернул эмиграционные хлопоты. «Раньше авантюрой было уезжать, теперь — оставаться», — объяснял он.

* * *

В ту пору я обзавелся новым кругом друзей, вернее — был

принят на новенького в круг, сложившийся раньше. Кое с кем я был шапочно знаком уже много лет. Мы случайно виделись время от времени. Так однажды утром продрали глаза с похмелья в пустой мастерской Б. и познакомились с Виктором Ковалем. Льва Рубинштейна я знал в лицо по салону Ники Щербаковой на Большой Садовой. Но короче мы все сошлись уже в клубе «Поэзия», появился он в 1986 году. Сам-то клуб был слишком пестрым сборищем разношерстных и даже несовместимых вкусов, поведений и эстетик, но дело взаимного ознакомления он сделал. Так или иначе, я появился в логове новой компании — на кухне Алены и Миши Айзенбергов, у них были то ли «вторники», то ли «четверги». По-моему, меня привел туда Виктор Санчук.[12] Мне понравилось, и я зачастил на эти сборища.

Вскоре после одного-двух первых посещений было чтение «Лесной школы» Тимура Кибирова, поразившей меня прямотой пафоса и каким-то эстетическим неприличием. Для меня это добрый признак — так я обычно реагирую на настоящую эстетическую новость.

А вообще, та пора запомнилась как очень праздничная — и было от чего! Замечательные и совершенно нежданные гражданские потрясения, наша относительная молодость, прорва культурных и общественных событий, будто в компенсацию за десятилетия национального прозябания, поток публикаций и проч. Мы, помнится, заключали пари: что «они» напечатают, а чего не осмелятся. Я, кажется, бился об заклад, что «Лолита» и «Николай Николаевич» останутся так и не покоренными твердынями из ханжеских соображений. Вдобавок ко всему, на очень короткое время отступила бедность: мы стали печататься и получать гонорары по советским ставкам, придуманным вовсе не для нас. Так что прийти к Айзенбергам с бутылкой и чем-нибудь съестным к столу и уехать домой глубокой ночью на такси сделалось чем-то вполне неразорительным. Юрий Карабчиевской, имея в виду конечно же и себя, сказал как-то: «Если у такой шпаны появились деньги, дела плохи.» Пили много, но пристойно. Индивидуалисты и отщепенцы со стажем, мы около сорока узнали сильное переживание, новое в спектре наших чувств: воодушевление людного митинга и шествия. Было этакое многомесячное карнавальное настроение, точно нам в кровь подмешали газировку.

Мы одно время объединились в поэтическое представление «Альманах»: Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Андрей Липский, Денис Новиков, Д. А. Пригов, Лев Рубинштейн и я. Даже слетали с ним в Лондон аж на три недели. По-моему, для большинства участников эти гастроли стали первым очным

знакомством с западной цивилизацией — все оторопели.

Половодье взаимного дружеского увлечения за четверть века вошло в берега; двое умерли, но я по-прежнему сердечно привязан к оставшимся, и мне далеко не безразлично, что они думают обо мне как о человеке и авторе.

«Айзенберговской кухне», скорей всего, я обязан и некоторым изменением эстетических вкусов и подходов. В «Московском времени» (Цветков не в счет, он всегда был сам по себе) если и не оговаривалось, то предполагалось, что существуют более или менее осязаемые параметры хорошего стихотворения: достоверность переживания, заинтересованная интонация, зримые образы, отсылки к высокой культуре, убедительная рифма — некий акмеистический эталон маячил за всем этим. Литературная практика и атмосфера компании «Альманаха» привили мне мнительное отношение ко всему вышеперечисленному — все так, но нужно еще что-то. А что именно — можно сказать лишь задним числом, когда литературная удача налицо. Не то чтобы до знакомства с поэтами «Альманаха» я самозабвенно и самодовольно клепал лаковые шкатулки, но несколько подвинулись мои представления о живом и мертвом в литературе. И теперь я нередко с прохладцей говорю о безупречном с виду стихотворении, в том числе и собственном: «Ну стихи, ну хорошие.»

* * *

В 1990 году мой отец умер от очередного инфаркта. По счастью, двумя годами раньше я внял терпеливым уговорам его младшего брата и моего дяди и, обуздав свою мелочную разовую правоту, первым сделал шаг к примирению после года с лишним разрыва. Не помирись мы с ним, самочувствие мое до конца дней время от времени было бы незавидным.

Отец умер 4 декабря, а 23-го машина сбила насмерть Александра Сопровского.

Смерть отца, как это всегда бывает, освободила место на самом краю, а с гибелью Сопровского рухнул мир молодости. Недели через две после Сашиной гибели я с боем купил бутылку водки, пришел домой и, с удовольствием предвкушая показ, разглядывал номер очереди, химическим карандашом вкривь и вкось намаранный у меня на запястье каким-то стихийным распорядителем. А потом направился в ванную и с ожесточением смыл его: некому было показывать — лучший в мире ценитель таких колоритных деталей канул в небытие. В обличье неряхи с

ранним брюхом умер умница и денди, взиравший на «совдепию» сквозь призму бодрого презрения! «Мы пригласили старшину на наш прощальный ужин…», «Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, товарищи, вам предложить…», «Давайте предъявлять друг другу документы…» — это у него от зубов отскакивало.

* * *

Чтобы сводить концы с концами, Лена, дипломированный историк, взялась за репетиторство, благо коммунистической трактовки истории на экзаменах уже не требовалось, а я — снова за переводы, правда уже несколько иного толка. Тогда на коснеющую в атеизме шестую часть суши устремились миссионеры самых разных конфессий: распахнулись просторы для духовного окормления, сопоставимые с метафизическим рынком эпохи Великих географических открытий. Среди разношерстных «крестителей» была и Новоапостольская церковь. Один русский малый, с которым я мельком виделся раз-другой не помню где, сделался чуть ли не старостой австрийского филиала этой церкви. Для отправления церковной службы срочно понадобилось перевести гимны с немецкого на русский. Я не ломался, согласился на 10 австрийских шиллингов за штуку и принялся за старое.

Стишки, скажем прямо, были не ахти: в них не ночевала ни гениальная ветхозаветная поэзия, ни сдержанная новозаветная. Речь шла о слащавых до приторности куплетах, приправленных мещанским меркантилизмом: Боженька-счетовод, я сегодня подал милостыню и рассчитываю на загробную компенсацию.

Целили миссионеры-австрийцы в население города Иванова, и здесь этим «ловцам человеков» не откажешь в проницательности. На такую сдельную благодать могли клюнуть разве что замордованные и полуграмотные матери-одиночки из города ткачих. Переводил я главным образом на даче (шесть отцовских соток между Рузой и Тучковом, красивые места). После нескольких часов сюсюканья в рифму я спускался со второго этажа и какое-то время непроизвольно сотрясал воздух самым кощунственным сквернословием. Так я на собственном опыте убедился в правоте Бахтина с его карнавализацией.

Карнавала тогда хватало с избытком. Москва ожидала голода и холода. Когда какая-то уличная хамка крикнула по старинке провинциальной чете вдогонку: «Понаехали тут!», те обернулись, и провинциалка со зловещей улыбкой сказала: «А мы ведь скоро

перестанем ездить». И я мигом представил себе всю обреченность горожанина, отрезанного от пригорода и деревни — от прокорма. По совету дядюшки — ангела-хранителя я купил на рынке у Киевского вокзала печку-буржуйку, а дядя сказал, что когда дойдет до дела, он научит ею пользоваться — по эвакуационной памяти. Магазины пустовали, как маленькие филиалы Каракумов. Иногда что-то распределяли в давке, граничащей с мордобоем. Дочь и сын изредка приносили «гуманитарку», распределявшуюся в детских учреждениях: импортное сухое молоко и банки с ветчиной. Как-то раз я достал из почтового ящика повестку из окраинного хладокомбината. Недоумевая, поехал. Друг молодости Давид Осман прислал из Америки плиту льда, битком набитую куриными ножками. Так мы и откалывали от нее всю зиму на балконе по одной детям на ужин. Раз позвонили из профсоюза литераторов при издательстве «Художественная литература», что переводчикам завезли стиральный порошок. В подвале на Малой Грузинской, где предполагалась раздача, стояли впритык десятки обнадеженных литераторов — и ни с места. Наконец откуда-то из недр подвала крикнули, что машина пришла, но некому разгружать. Я был в числе трех вызвавшихся мужчин. По окончании разгрузки нас премировали пачкой «Лотоса» сверх положенных двух в одни руки. По месту жительства выдавались талоны на водку, табак, сахар, носки. Помню, как я затаил дыхание, когда замороченная сотрудница домоуправления по ошибке выписывала мне водочный талон на четырехлетнего сына. При всем при том у нас с Леной скопилось какое-то невероятное количество бессмысленных дензнаков. Чтобы хоть как-то их потратить, мы уехали всей семьей на лето в Израиль к родственникам. В условиях израильской рыночной экономики наши баснословные богатства улетучились недели за две. Меня взял грузчиком Алеша Магарик — он к тому времени уже вышел из омского лагеря и четыре года как промышлял извозом в Израиле: развозил по адресам мебель, холодильники и т. п. Раз, согнувшись в три погибели, я пер на спине по ближневосточному зною холодильник где-то в Гило и с одышкой сетовал, что почти месяц нахожусь в Земле обетованной, а так и не видел, ну хоть Вифлеема. «Разогнись чуток — он внизу под тобой!» — сказал мой глумливый босс и товарищ. И впрямь: под горой пестрел арабский город Бейт-Лехем.

Тем израильским летом мы с женой делали что попало: драили детский сад, убирали квартиру к приезду знатного раввина, собирали фрукты на плантации под Рамаллой, объездили с малыми детьми всю страну — было хорошо.

В 1991 году, как раз в августе, мы чудом разъехались с

соседским милицейским семейством и обзавелись двухкомнатной квартирой там же, в Замоскворечье. Эпизодические заработки и мне и жене перепадали все реже. Года два мы жили тем, что ночами расфасовывали по конвертам, сверяясь с квитанциями, свадебные заказы фотоателье и надписывали адреса заказчиков. Справочник почтовых индексов лежал в красном углу квартиры. Деньги были нужны позарез. Как-то вечером зашла подруга юности Наташа Молчанская (она служила в двух шагах — в «Иностранной литературе») и сказала, что освободилось место в отделе критики и публицистики, не хочу ли я попробовать. «Попробовать можно, — решил я. — Мне не впервой, ближе к лету уволюсь». (Я пишу это в самом конце 2011 года. До пенсии мне остался год. Я так и не уволился.)

В сентябре 1993 года я оформился на работу в журнал «Иностранная литература». А в октябре — по ночному радиопризыву премьера Гайдара — принял участие в городских волнениях: строил баррикады на нынешней Никольской, где тогда находилась редакция «Эха Москвы». Когда мы перегородили улицу всякими случайными и тяжелыми предметами — металлоломом, бетонными чурками и проч., сухощавый напарник спросил меня, держал ли я в руках оружие. «Нет, — ответил я, — а вы?» — «Я военный», — сказал он. Потом по пустынной улице навстречу баррикаде пошли какие-то люди, человек пять. «Кто идет?» — крикнули, как в кино, с нашей стороны. «Свои!» — послышалось в ответ, и на меня повеяло бредятиной гражданской войны: какие свои, кому свои?.. Потом я устал и сел покурить на бочку, как оказалось — с бензином, и не сразу понял, почему эти посторонние люди орут на меня. Тогда я почувствовал себя нелепым и лишним и пошел на другую сторону реки — домой.

Спустя несколько дней в редакции заместитель главного редактора японист Григорий Чхартишвили со сдержанной улыбкой сказал, что добровольцев-бюджетников, участвовавших в недавних событиях на президентской стороне, премируют отгулами, но журнал — не бюджетная организация, поэтому мне отгулы за героизм, увы, не положены. Такой юмор в моем вкусе, и теперь мы почти двадцать лет дружим семьями, хотя «меж нами все рождает споры».

* * *

Теперь я коротко расскажу о своих литературных занятиях последнего двадцатилетия. К 90-м годам я уже никак не меньше пятнадцати лет писал в год по три-четыре стихотворения. Почему

так, я не знаю, хотя добросовестно перебрал все доступные моему разумению причины, включая и обидные, как то: слабые способности, недоразвитый артистизм и т. п. Но само писание доставляет мне большое удовольствие — на отсутствие графоманской жилки я не жалуюсь. При таком аскетическом литературном режиме мне сильно досаждали и досаждают пустые месяцы между считаными стихотворениями, и моей стойкой мечтой была проза, написание которой (и связанное с этим отрадное сознание занятости) растянуто во времени. Но здесь я привычно впадал в ступор, очень похожий на мое юношеское оцепенение перед лирикой. В молодости я боялся, что не сумею говорить стихом, в зрелости — наоборот, опасался, что не смогу распорядиться чрезмерной, на непосвященный взгляд, лишенной жестких ограничений размера и рифмы свободой письма в строчку. Обрел я дар прозаической речи, как и некогда поэтической, по забывчивости: когда отвлекся на постороннее литературе чувство и забыл страх. Страх перед прозой я забыл на радостях: ко мне вернулась память на слова — дар речи в самом прямом психофизиологическом смысле.

В декабре 1993 года скверное самочувствие погнало меня к врачам. Дело было даже не в головных болях (они у меня с детства), а в прогрессирующей деградации: я стал заторможен, косноязычен, в глазах у меня двоилось, как у анекдотического пьяницы. Врачи нашли у меня и благополучно удалили опухоль мозга. Внезапное стремительное исцеление по контрасту с ужасом и омерзением, испытанными мной перед операцией, обернулось легкостью, равной которой я не упомню, и я за два-три месяца, похерив свою прозобоязнь, написал автобиографическую повесть «Трепанация черепа». (Спустя десять лет операцию пришлось повторить, но эйфория уже не повторилась — хорошего понемножку.) Сочинение прозы не обмануло моих ожиданий, и я, как начинающий тигр-людоед, вошел во вкус. Не тут-то было! Оказалось, что писание прозы, так же как и лирики, не в компетенции моей воли; силы моей воли хватает на утренний холодный душ, не более. И потом десять лет я вынашивал замысел love story, где восприятие влюбленного юнца перемежалось бы его же зрелыми воспоминаниями о случившемся. Дальше намерения дело не шло, пока в 2001 году на эскалаторе станции «Новокузнецкая» меня не осенило, что сдвинуть замысел с мертвой точки может счастливый — и в поэзии и в любви — соперник моего героя. Любовный треугольник наконец-то нарисовался. (Я сейчас делюсь маленькими авторскими радостями, а вовсе не хвастаю литературными удачами, о которых судить, разумеется, не мне.)

В 1989 году в издательстве «Московский рабочий» наряду с книжками других дебютантов в летах вышла первая книжка моих стихотворений «Рассказ», в сущности — брошюра. (К тому времени за мной уже числились две-три недавние журнальные публикации в групповых подборках.) Тираж книжки был еще советский, нерыночный, огромный — 10 000 экземпляров. Тогда-то в первый (и на сегодняшний день — последний) раз я увидел, как мою книжку читала в метро молодая женщина — незабываемое, надо признаться, чувство!

Человек может быть темпераментным честолюбцем, а может со спокойствием относиться к успеху; но с возрастом дает о себе знать племенной инстинкт: хочется социальной определенности — чтобы общество подтвердило твою профпригодность и закрепило за тобой желанный публичный статус. Для психики совсем не просто из года в год мириться с реноме самопровозглашенного, но непризнанного учителя, хозяйки салона, автора или даже ниспровергателя основ. Так что для меня, как и для товарищей по цеху, переход на «легальное положение» был совсем не лишним. Очень жаль, что до этого времени не дожили отец с матерью: моя социальная неприкаянность удручала их.

Целое поэтическое сообщество вышло тогда из подполья на поверхность. Цензура пала, и, наспех заполнив наиболее вопиющие пробелы классики — от Лескова до Набокова, журналы и издательства заметили наконец самостоятельную катакомбную литературу — и взялись за нее. Разумеется, из застигнутых передислокацией авторов многие получили известность не по эстетическим заслугам и «небесному счету» («тогда б не мог и мир существовать»), а сообразно сложившимся редакторским и читательским предпочтениям. Так что все-таки по каким-то заслугам — сообразно тому количеству публики, которому каждый автор пришелся по вкусу. Справедливость, на демократический лад. Чтобы покончить с этой нервной темой, скажу, что за свою скромную известность я читателям благодарен. Она абсолютно устраивает меня: случись огласка громче, я бы подозревал, что дело нечисто (лирика как-никак), будь она тише — огорчался бы (как-никак лирика).

И здесь мне снова — и в который раз! — повезло. Зимой 1994 года позвонил издатель петербургского «Пушкинского фонда» Геннадий Федорович Комаров и спросил, нет ли у меня рукописи готовой книги стихов ему на ознакомление. Разумеется, она была, и я вручил ее Комарову уже час спустя (он ночевал в пустующей мастерской напротив нашего дома). Потом Гек (так зовут его

друзья-приятели, к которым я с тех пор имею честь и удовольствие принадлежать) издавал меня неоднократно — и стихи и прозу, и ему моя пожизненная признательность обеспечена, причем не только по издательской части. Он — человек без страха и упрека. А что не делец, так делец бы и не позвонил мне зимним вечером 1994 года. Спасибо.

Потом без отрыва от производства (имеется в виду «Иностранная литература») я сотрудничал с другим хорошим человеком, Александром Кукесом: мы делали поэтическую радиопрограмму «Поколение». Название неплохое, но неточное — через студию прошли выходцы из двух смежных поколений, от Михаила Айзенберга и Алексея Цветкова до Григория Дашевского и Дениса Новикова.

Еще, заодно с Айзенбергом и Рубинштейном, мы вели классы в Школе современного искусства при РГГУ. Это было интересно, но не просто. Не знаю, как кому, но мне, чтобы изображать непринужденную болтовню в течение часа, приходилось планировать предстоящий разговор всю неделю — вплоть до занятия. Я рассказывал студентам всякие были из собственного прошлого напополам с ненастойчивыми умозаключениями — настойчивых у меня практически нет. Тогда мои байки еще не были замылены неоднократными интервью, и вспоминать было в радость. В числе наших слушателей, чем я немножко горжусь, были нынешние заметные деятели культуры — Маша Гессен, Дмитрий Борисов, Андрей Курилкин и др. Однажды у меня на занятиях выступал Петр Вайль. Мы вышли на улицу Чаянова после занятий, и я пожаловался на студентов: «Почему они скованны, я ведь предлагаю им дилетантский разговор?» — «До дилетантского разговора нужно дорасти», — сказал Петя. Теперь они, видимо, доросли.

* * *

Двадцать без малого лет жизни мне очень скрасил Петр Вайль. Мы мельком познакомились в Нью-Йорке в 1989 году. Потом я получил от него пространное остроумное и умное письмо и ответил на него. Вскоре мы стали друзьями; виделись от случая к случаю по обе стороны российской границы. Мне было с ним на удивление легко и покойно, как в домашнем халате. Объясню это странное сравнение. Моя сознательная жизнь прошла, в большой мере, среди оригиналов — ярких дарований со смещенным «центром тяжести». Я привык чувствовать себя уравновешенней, объективней и обыкновенней многих из этих

недюжинных людей. Чуть ли даже не старее. И с опаской повторял неоднозначные слова Эйнштейна: «Объяснять мир нужно просто, как только возможно, но не проще». Лирическая червоточина изменила мою биографию существенней, чем меня самого. Правда, десятилетия общения с оригиналами сделали мой кругозор на порядок объемней и приучили, как в кабинете окулиста, примерять на себя «линзы» разных взглядов. Это труд полезный и правильный, но — труд. С Вайлем получалась передышка. Именно тайную и виноватую мою любовь к здравому смыслу, только в явном и торжествующем выражении, я с радостью узнал в Петре Вайле. Если продолжить оптическую метафору, меня подкупало, что мы оба смотрели на вещи сквозь трезвое оконное стекло.

Среди многочисленных человеческих добродетелей Пети Вайля (смелость, широта, бодрость духа) была еще одна, совсем не частая: он, как подросток или женщина, увлекался людьми, которых считал талантливыми, и держал их на особом счету. Видимо, я попал в число этих баловней и получил от его щедрот сполна. Перечень фактических проявлений Петиной дружеской заботы и такта занял бы много места. Когда мы семьями ездили по Италии и его попечениями как сыр в масле катались, я как-то с глазу на глаз, довольно топорно проявляя благодарное понимание, спросил Петю, сильно ли они с Элей потеряли в комфорте, приноравливаясь к нашему с Леной скромному достатку (дешевые гостиницы, сухой паек и т. п.). «Отвяжись», — ответил Петя.

В ту поездку мне очень глянулась проходная и невзрачная по римским меркам Piazza de Massimi на задах знаменитой Навоны. Так, в замечательном, по общему мнению, человеке особенно сильно могут подействовать непарадные и непроизвольные приметы его достоинств. Спустя время трогательный Вайль прислал мне фотографию «моей» пьяццы с облупленной колонной не по центру.

Он был человеком чрезвычайной наблюдательности. Ночью мы быстро шли длинным подземным переходом под Пушкинской площадью. На ящике у закрытых дверей метро сидел бородатый молодой человек с книжкой. Три-четыре нищих внимали ему. «Беда пришла в дом: сын — вольный художник», — сказал я, исходя из собственного опыта. «Он не художник, он — проповедник, — поправил меня Петя, — у него в руках Евангелие».

Иногда от его прозорливости становилось не по себе. Мы принимали гостей, человек двенадцать. Я, как мне казалось, весь вечер был хорошим хозяином. Смеялся шуткам и сам шутил,

выслушивал серьезные суждения и делился соображениями, помогал жене накрывать на стол. Петя задержался дольше других. «Сказать тебе, чем ты был занят последние часа два?» — спросил он меня вдруг. «Чем же?» — откликнулся я за мытьем посуды. «Ты искал глазами пробочку», — сказал Петя. Вообще-то — да… Пуская пыль в глаза, я к приходу гостей наполнил водкой материнский, еще поповский, графин, и, вероятно, мне, аккуратисту, действовало на нервы, что пробку извлекли, а на место не водрузили.

Меня развлекали простота и материализм, временами чрезмерные, с которыми он толковал поведение общих знакомых. Иванов давно ничего не пишет — тестостерон на пределе; Петров с Сидоровым поссорились — не иначе интрижка и стариковская ревность. Но когда я сам раз-другой стал жертвой подобного метода, меня «психоанализ» Вайля раздосадовал: с пробкой, не скрою, он попал в яблочко, но в ситуациях, о которых идет речь, Петя подгонял мои эмоции и поступки под ответ упрощенный или даже ложный, лишь бы из разряда прописных истин. Я заподозрил его здравый смысл в банальности. А тут еще масла в огонь добавило истолкование Вайлем четверостишия Пушкина. Мне самому не верится, но именно эта одна-единственная строфа стала наиболее веской причиной охлаждения двадцатилетней дружбы:

Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

Я эти стихи сильно люблю, и когда Петя сказал мне по телефону, что собирается говорить по их поводу на одном литературном сборище, я поинтересовался, что именно. Вайль ответил, что понимает это четверостишие как антиромантическое, утверждающее главенство «воды» и «зерна» — «прозы жизни»; а песни приложатся, хоть бы и в клетке.

Будто будничное перечисление первой строки не подразумевает жизненной драмы, и не слышна нота обращенного автором на самого себя насмешливого отчаяния.

Вскоре по электронной почте чуткий Вайль спросил меня, не случилось ли чего. Какое-то время я отмалчивался, а потом взял и, по своему графоманскому обыкновению, высказался письменно, в очередной раз забыв поговорку про топор, бессильный перед пером. И получил от него сухой и грустный ответ, что спорить он со мной не станет — не потому, что я прав,

а потому, что переубеждать взрослого человека было бы пустой тратой времени. И по-взрослому же заключил письмо ссылкой на наши годы — годы «вычитания», как он выразился, — и предложением сберечь остаток былых отношений.

Мы продолжали переписываться, но реже. В последний раз говорили о цветковских переводах Шекспира в «Новом мире». На другой день, на службе в пражском бюро «Свободы», у Пети остановилось сердце, более года он пролежал в коме, 7 декабря 2009 года умер.

С позапрошлого лета я по стечению обстоятельств зачастил в Рим. В первый раз я набрел на Piazza de' Massimi совершенно случайно; в два других — прихожу сюда, будто на могилу. Все как всегда: хочется виниться — и вообще и в частности.

* * *

Здесь же вспомню и о Льве Владимировиче Лосеве, он много значил для меня.

Году в 70-м приятель, далее моего продвинувшийся по стезе порока, дал мне затянуться раз-другой казбечиной с анашой и спросил через несколько минут:

— Ну, как?

— Ничего не чувствую, — отвечал я со стыдом.

— Нормально, это — кайф такой, — сказал мой растлитель.

Я уже знаком был с безусловным и сладким, как внезапное освобождение, алкогольным опьянением, поэтому мне не поверилось, что «кайф» может быть таким. А если может, то какой же это «кайф»?!

Вот и стихи: они либо ударяют в голову и становятся, пока ты находишься под их воздействием, полноценной и несомненной явью, либо — нет, и в этом случае, получается, прав Толстой, сравнивая поэзию с пляской за плугом.

Стихи Льва Лосева, попавшись мне впервые на глаза давным-давно в парижском журнале «Эхо», сразу подействовали на меня как выпитый залпом стакан водки: я только округлил глаза и выдохнул (кстати, первый раздел его первой книги и называется «Памяти водки»). Роднило огненную воду и эту лирику мигом накатывавшее ощущение легкости и свободы — языковой свободы: так литература дает читателю знать, что автор справился со скованностью и предрассудками литературных общих мест и отныне сам держит ответ за свои слова. И я начал выискивать в оглавлениях изредка попадавших в наш товарищеский круг эмигрантских журналов знакомую фамилию с

академически-философским привкусом.[13]

Спустя годы я гостил у Бахыта Кенжеева в Монреале, туда же из Вашингтона приехал и Алексей Цветков. За возлияниями долгожданной встречи мои друзья то и дело открывали книжку Лосева — скорее всего, «Тайного советника» — и со смаком оглашали застолье декламацией, причем слог и смысл читаемого пребывал в коротком родстве с формой и содержанием нашего застольного трепа. Так что сказанное Лосевым о Довлатове применимо и к самому Лосеву — о таланте превращать «в словесность, подлинно изящную, милый словесный сор застольных разговоров, случайных, мимоходом, обменов репликами, квартирных перепалок. Эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный пар остроумия — все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой».

Кто-то в пьяном воодушевлении сказал, что автор живет, по американским меркам, поблизости и ему можно позвонить запросто и зазвать в гости. До дела не дошло, но меня с непривычки удивила теснота эмигрантского мира.

Несколькими годами позже, когда я остановился в Нью-Йорке у Петра Вайля, тот, разговаривая по телефону, подошел ко мне и протянул трубку. На мой недоуменный взгляд он шепнул: «Леша Лосев».[14] Человек я довольно зажатый, поэтому вряд ли сказал что-либо вразумительное — только промычал что-то благодарственное в ответ на приветливую фразу по поводу моей прозы «Трепанация черепа». Помню отзыв собеседника «очень трогательно». Потом я не раз слышал от Льва Лосева слово «трогательно» в оценке искусства.

А году в 1996-1997-м я и сам приехал к Лосевым в Ганновер, поскольку организаторы моего «чеса» по США договорились о выступлении на русском отделении Дартмутского колледжа.

Когда понаслышке интересуешься кем-то и думаешь о нем, реальная встреча производит впечатление чего-то неправдоподобного, даже иллюзорного. Психике, видимо, непросто свыкнуться с всамделишным существованием этого человека после долгого заочного «общения».

— Здравствуйте, вот вы какой, — сказал мне мужчина средних лет и очень обыденного облика, когда я вышел на конечной остановке экспресса «Grey Hound».

Лосев — и это сразу бросалось в глаза — выглядел как-то очень по-заболоцки непоэтично: добропорядочно одетый, сдержанный, интеллигентный, без артистических замашек — профессор профессором. Впрочем, с таким же успехом его можно было бы счесть врачом, инженером или учителем старой

закваски, известным по книгам и интеллигентским преданиям. Поэтому секрет его безусловного обаяния не очень понятен. Он излучал ум, доброжелательность и нравственную определенность. Несмотря на мягкие манеры, чувствовалось, что он умеет, в случае надобности, поставить на место или отшить. Отзывы его о российской политике и отечественных нравах, включая литературные, были выношены, точны и брезгливы. Вместе с тем он был приветлив и простодушен, и ему не требовалось съесть с кем-либо пуд соли, чтобы зачислить его в друзья (как меня, например). Он был отходчив и охотно менял мнение в лучшую сторону. Так, он рассказывал, что с опаской и предубеждением относился к Елене Шварц, наслышанный о ее эксцентричном поведении, но после совместной гастроли в Израиль Леша отзывался о ней исключительно приязненно. Простодушие не мешало ему хорошо разбираться в людях. «Очень умный», — аттестовал я одного общего знакомого. «Остроумный», — поправил меня Лосев. «Умный», — повторил я нарочно через минуту-другую. «Остроумный», — упрямо и как бы невзначай откликнулся Лосев. Теперь я согласен, что человека, которому мы мыли кости, действительно отличает нечастое сочетание едкого остроумия и довольно умеренных умственных способностей.

Нина и Леша Лосевы трепетно любили всякую живность, и их гостю приходилось быть начеку, входя в дом или выходя наружу, чтобы не нарушить привычного обихода кошачьей жизни Коламбо. Вот выдержка из письма пятилетней давности:

> Вы не представляете себе, в каком виде я пишу это. Дело в том, что известный Вам кот Коламбо вчера пропал — не вернулся с вечерней прогулки. Мы почти не спали ночь, дожидались, Нина плакала. И вот, более чем сутки спустя, мне позвонили (я рассовал по всей округе листовки в почтовые ящики) люди из соседнего квартала, что у них на чердаке кошка мяучит. Он, гадина, забрел к ним в гараж, когда дверь была открыта, а потом ее закрыли, и он оказался заперт. В поисках выхода он забрался на чердак, весь заставленный старой мебелью, радиолами и чуть ли не граммофонами. Я на брюхе проползал между ножками ломберных столиков, по пути опрокидывая коробки со старинным столовым серебром. Кот вопил, хозяйка умоляла меня быть поосторожней с антиквариатом, хозяин давал идиотские советы. Сейчас мы дома, я шарахнул полстакана, кот рядом мурлычет и дает понять, что не прочь пойти прогуляться.

Как-то мы говорили об N, нашем общем товарище. Я выразил недоумение, что такой в высшей степени наблюдательный человек, знаток и страстный любитель искусства, абсолютно равнодушен к природе во всех ее проявлениях: не знает липу «в лицо», в упор не замечает моего боксера и т. п. «Неужели он не понимает, что вывести такого пса не проще, чем построить Кельнский собор?!» — сказал Лосев.

Вкусы наши нередко не совпадали. Бродский был его пожизненным кумиром: современная литература делилась на Иосифа Бродского и всех остальных. По поводу одной моей заметки о Бродском, которая, кажется, называлась «Гений пустоты», Лосев досадливо сказал: «Далась вам эта пустота». Великим писателем считал он и Солженицына. С безоговорочной любовью и почтением относился к Ахматовой и Пастернаку. Когда я позволил себе некоторые критические суждения в адрес лосевских авторитетов, он искренне огорчился: «Как вы не понимаете — ведь это так хорошо!» Я старался его больше не огорчать: вероятно, у каждого поколения есть святыни, отношение к которым не подлежит пересмотру. И наоборот: он решительно не понимал художественных достоинств Саши Соколова.

Снобизма, этой самолюбивой вкусовой зависимости навыворот, Лосев был лишен начисто. Меня развеселило, что они с Ниной на пару довольно исправно смотрели российские детективные сериалы и поименно — куда лучше меня — знали персонажей и исполнителей.

Малость обшарпанный, но уютный и изнутри совершенно не типовой, в отличие от виденных мной жилищ американского среднего класса, дом Лосевых стоял на отшибе в ряду трех-четырех похожих домов на высоком лесистом холме над Норковым ручьем. Ухоженный стараньями Нины сад, собственно, и заканчивался огромным обрывом к ручью. В первый же приезд я спросил у Леши, как бы здесь в окрестностях погулять. Он объяснил мне, где свернуть к лесу и метров через сто перелезть через изгородь. Я удивился, памятуя, что я — в обихоженной и цивилизованной Новой Англии, но послушно перелез. Нагулявшись вволю, покурив у маленького водопада и бросив в бурун сентиментальный грош, я пошел тем же путем обратно и обнаружил, что в изгороди прямо по курсу пешеходной дорожки была… калитка. Меня позабавил этот неизживаемый отечественный рефлекс незаконного преодоления преград — позабавил он и Лешу.

В общей сложности я был у Лосевых раза четыре, может быть — пять, но не вел записей, поэтому воспоминания мои бессвязны

и отрывочны. (Кроме того, кое-какие его мнения и истории, что для литератора совершенно естественно, были устной версией его же мемуарных записей и литературных заметок — я узнавал их, читая «Меандр».)

Во всяком случае, после первого приезда у меня появилось право писать ему — мне кажется, переписка нас и сблизила. Изредка — несколько раз в год — я отправлял ему пространные электронные письма с московскими литературными и политическими сплетнями, отчетом о прочитанном, бытовыми новостями, новыми стихами, когда они были, и проч. — письма как письма. Он отвечал, как правило, куда лаконичней, но с неизменной приветливостью, по-моему — искренней. Если и присылал свои стихи, то лишь после моих напоминаний. Как-то он сказал мне, что не придает собственным литературным занятиям серьезного значения. Обычно такие вещи говорятся из кокетства, но Лосеву я поверил, хотя и с удивлением.

Правду говорил Лосев или скромничал, но авторское самообладание у него было нечастое для нашего нервического цеха. Петр Вайль рассказывал, что однажды в Нью-Йорке на выступлении Лосева в зале сидело всего четыре человека: Вайль с женой и Генис с женой. Лосев уважительно и невозмутимо отчитал всю программу, после чего повел приятелей в ресторан — обмывать свой «триумф».

Я не стану описывать злосчастный приезд Лосева в Москву — он сам описал его с дневниковой скрупулезностью, и я опасаюсь принять его воспоминания за свои. Добавлю только, что во время сборов в Переделкино на поиски могилы поэта Владимира Лифшица, отца Лосева, я отговорил Лешу обувать привезенные им из-за океана душераздирающие какие-то жюльверновские «калоши» с чулками-голенищами по колено. И напрасно: мы вывозились с головы до ног в апрельской глине, пока битых два часа искали и не нашли на скользких кладбищенских склонах отцовское захоронение. К слову сказать, Леша до старости был любящим сыном и его, думаю, не могло не расположить ко мне, когда я как-то прочел наизусть несколько строк из «Отступления в Арденнах» В. Лифшица, запавших мне в память смолоду.

Подробнее прочих я помню свое последнее посещение Дартмута — то ли потому, что оно было последним по времени, то ли потому, что прощальный смысл этого приезда обострил мою память.

Как водится, в таких поездках все расписывается с точностью до дня. Леша даже подгадал, чтобы мой приезд пришелся на выходные — пообщаться без спешки. Я тогда объездил несколько университетов, радовался гостеприимству, успеху, беспечности,

видам Новой Англии, заработкам и тому, что главная радость — встреча с Лосевым — еще впереди. Накануне условленного дня я на всякий случай позвонил Лосевым из Бостона. Трубку взяла Нина и подчеркнуто громко и внятно сказала, что Леша умирает, было произнесено слово «рак». Я растерялся и спросил, приезжать ли мне вообще, и Нина ответила, чтобы я перезвонил завтра, когда Лосева выпустят на субботу и воскресенье из больницы. Наутро Лосев сказал, чтобы я приезжал, поскольку выступление уже оговорено на кафедре, но постарался сократить время своего пребывания.

Встретил меня на знакомой остановке и отвез к Лосевым Михаил Гронас, Лешин младший коллега и товарищ, поэт. Выглядел Лосев скверно: очень похудел, глаза его были обведены темными кругами, передвигался через силу. Зная, что процедура, которой подвергается Леша, называется диализ, но не представляя себе ее по существу, я спросил Лосева, можно ли его обнять. «Можно», — ответил он. Сели за стол — Нина, Леша, Миша, я. Здесь-то по ходу дела я и сказал ему с деланной бодростью, что он — старшой в нынешней поэзии и хотя бы поэтому просто обязан выздороветь. «Не дождетесь», — усмехнулся Лосев. Вскоре он ушел к себе на второй этаж, а оставшиеся за столом продолжали невеселые возлияния.

Утром следующего дня Лосева повезли на процедуры, а я, разбитый после вчерашнего, впервые не пошел бросать мелочь в водопад, а просидел в саду на краю обрыва вплоть до своего вечернего выступления, прикладываясь к графину с виски, вынесенному по моей просьбе Ниной, и бездумно пялясь вдаль. За ужином вернувшийся Лосев был оживленней, чем накануне, пошучивал, как бывало, и даже попенял анекдотически рассеянному Мише Гронасу, напутавшему что-то с моим гонораром. (Уже в Нью-Йорке за день до отлета в Москву мне таки сполна перечислили всю сумму, и в этом — весь Лосев.)

Меня познабливало, и я ушел к себе наверх в гостевую комнату, разделся, снял с полки том «Неподцензурной русской частушки», лег и листал, с профессиональным удовлетворением отмечая, что почти все из этого срамного свода мне знакомо. Тихо постучали в дверь. На мой призыв в комнату вошел Леша с глуховатой цитатой на устах: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Я в ответ кивнул на свое — на сон грядущий — чтение и сел в кровати. Виртуоз черного юмора Лосев коротко улыбнулся («брат» в одних трусах с томом матерщины на коленях) и попросил меня в случае чего позаботиться о публикации в России его неизданных сочинений. Я отвечал какими-то сообразными моменту благоглупостями, которые он с пониманием прервал и

пожелал мне спокойной ночи.

Чем свет я второпях уезжал; почему-то решено было ехать в Нью-Йорк не автобусом, как обычно, а поездом с полустанка White River. Подвозил меня до станции Миша Гронас.

В общих чертах я помню предыдущие проводы, когда провожал меня Леша: павильон автовокзала, ритуальные препирательства у кассы, кому платить за мой билет, заканчивавшиеся неизменно в его (то есть в мою) пользу, приступ прощальной застенчивости, неуклюжее объятье, последний обмен улыбками — он с тротуара, я вполоборота со ступенек автобуса… Всякий раз я прощался с ним будто навсегда, потому что поездка в Америку — дело случая, и никогда нет уверенности, что окажешься в этих краях снова. Теперь, именно из-за абсолютной уверенности, что мы видимся в последний раз, попрощались и вовсе наспех. Каким-то боковым зрением я крепко-накрепко «заснял» две согбенные фигуры на крыльце деревянного дома.

Вскоре из Москвы я написал Лосеву:

> Дорогой Леша,
>
> я вернулся домой. Самое сильное американское впечатление, на этот раз, дистанция White River Junction — Penn-Station на поезде. Такой провинциальной + осенней Америки я еще не видал. Спасибо обстоятельствам. Деньги тоже получены и отданы до единого цента семейному казначею, Лене. Спасибо Вам.
>
> Теперь о главном, о Вашем здоровье. Издали и по слухам все казалось куда мрачнее. При свидании я бы, скорей всего, ничего не заметил, не знай я загодя о Вашей болезни, — так бодро Вы держались. Меня, честно говоря, больше диагнозов огорчило, что у Вас, чего Вы и не скрываете, пропал вкус к жизни. И я, и мои домашние, и многочисленные Ваши читатели, почитатели и доброжелатели, о существовании которых Вы даже не подозреваете, от всего сердца желаем Вам, чтобы этот вкус Вы снова припомнили. «Клейкие листочки» и прочую гиль.
>
> Я никогда не болел так серьезно, как Вы сейчас; мне покамест не было семидесяти с гаком лет… Это я к тому, что мое благодушие, понятное дело, немного стоит, поскольку не подкреплено личным опытом. Но никаким иным способом у меня, увы, не получается выразить Вам своей любви и поддержки. Извините.
>
> Нине — наши поклоны.
>
> *Ваш С.*

Вот его ответ:

> Дорогой Серёжа,
>
> Ваш приезд был единственным отрадным событием за последние полтора месяца. Не то что бы всё было мрак и отчаяние, но ничего радостного не происходило, а тут произошло. Вы напрасно трактуете моё состояние как потерю интереса к жизни. Интереса-то, как сказал бы Юз,[15] до хуя, просто главным и неожиданным для меня самого, modus'ом vivendi, стало спокойное приятие того, что со мной делается. А я между тем опять в больничке. Поехал в среду утром сделать пустяковую операцию на руке, необходимую для диализа. После операции должен был вернуться домой, но вдруг начал задыхаться. Тут, правда, мелькнула мысль, что хорошо бы потерять сознание, а то и помереть, чем это. Примерно через час меня привели в порядок. Теперь врачи осторожничают, проверяют, не был ли этот приступ инфарктом. Я думаю, что нет. Но даже если и был, фиг с ним. Чувствую я себя нормально. Комната у меня отдельная. Окно во всю стену. За окном великолепная золотая осень. Могу и выйти, посидеть на лавочке, подышать осенним воздухом. Читать тянет русскую прозу. Вчера попробовал раннего Алексея Толстого (очень плохо) и прежде не читанного Сигизмунда Кржижановского. Тоже не понравилось: изобретательно, философично, но нет нормальной человеческой истории, собственно рассказа, отчего и нудновато. Как только буду дома, а произойдет это, наверное, в среду, пошлю Вам, как условились, все стихи после последней книжки, а потом и черновики мемуарных заметок.[16] После Вашего отъезда меня навестила Ксения, московский адвокат, описанная в моем травелоге 1998 года. Она объяснила мне, как юридически оформить Ваше право распоряжаться моим литературным наследием в России. (Моё литературное наследие!) Это несложно: в общем-то, требуется только заверенное американским нотариусом письмо. Спасибо Вам! Обнимаю. Нина шлет нежнейший привет. И Лене наши поклоны.
>
> *Лёша.*

На мое следующее письмо он не ответил, и я взял за обыкновение изредка звонить ему. В один из этих телефонных разговоров речь зашла о «писательском» учебнике русской

литературы,[17] в написании которого Лосева и меня пригласили поучаствовать. По поводу героя моего очерка Леша сказал, что вообще-то не любит психоаналитического подхода к искусству, но Бабеля считает прирожденным садистом, и сослался на его ранний рассказ «Детство. У бабушки». Лосев тоже собрался писать. Но, увы, через несколько дней выяснилось, что одобренный редакцией выбор Лосева ею же задним числом и отменен: «лосевский» классик оказался уже «распределенным». Лосева, человека слова, конечно, покоробила такая безответственность. Уладить это обидное недоразумение не удалось.

Вскоре Леша перестал отвечать и на телефонные звонки.

7 мая 2009 года от Михаила Гронаса пришло сообщение: «Lev Vladimirovich umer v 2.15 dnia, tak i ne prishel v soznanie».

Смерть близкого человека повергает нас в состояние какого-то отроческого горя, сильного и незамутненного. Трудно передаваемое ощущение невосполнимой утраты, непременно вины, благодарности, осознание трагической конечности всего, что дорого, к чему привязался, как насовсем…

* * *

По мере приближении к настоящему времени годы мелькают и мельтешат, как «версты полосаты», факты отказываются выстраиваться в рост по значимости, а память страдает «дальнозоркостью» и, щурясь, вглядывается в плохую видимость недавних событий. Значит, пора закругляться.

В 2000 году к власти в России пришел отталкивающий человек — старательно вытесненное в подсознание советское привидение, нечто низменно-дворовое из похмельного сна. Он и его помощники принялись умело и прилежно совращать страну на перепутье, будто протягивать стакан водки запойному человеку, нетвердо решившему наконец завязать. Полку совратителей прибывало на глазах за счет «добровольцев оподления», по выражению Лескова. Можно было бы радоваться собственному прозорливому скепсису конца 80-х, но радоваться не получалось (-ется). Избитые строки «Бывали хуже времена, но не было подлей» просятся на язык. Советские вожди, будучи по совместительству жрецами идеологии — верховной истины, делали тем самым хотя бы косолапый реверанс в сторону общества: мол, истина есть истина, кто-то же должен при ней состоять и ее блюсти. Нынешние князьки обходятся без экивоков

и властвуют исключительно по праву силы. В то же время интеллигенция загадочным образом предоставлена сама себе: читай что заблагорассудится, езди, куда позволяют деньги, зарабатывай, сколько и чем хочешь, хоть бы и критикой режима, разве только на отшибе — в интернете по преимуществу. Оказалось, что такой свободы — свободы понарошку недостаточно, как недоставало некогда писания исключительно «в стол».

Правда, я заканчиваю эти беглые мемуары в декабре 2011-го после многотысячных московских митингов протеста. И может быть, наше отечество, к добру или к худу, снова подает признаки жизни.

В последнее десятилетие меня сильно задела расправа над Лебедевым и Ходорковским. И вовсе не потому, что это — главный и единственный пример произвола, но уж больно он нагляден и образцово-показателен.

Что еще? Дети выросли и стали ровней и друзьями. Хорошо бы их участь была, как минимум, не хуже нашей, на диво удачливой для русского XX века. На долю моего поколения не выпало ни войны, ни террора. Мы даже наспех посмотрели мир, на что никак не могли рассчитывать. Можно сказать, мы жили в свое удовольствие, насколько это в принципе осуществимо.

Вплотную к шестидесяти, когда я пишу эту заметки, приходится с удивлением признать, что круг жизни если и не замкнут вполне, то почти очерчен и на носу старость. Я своих лет пока не чувствую: по-прежнему срываюсь уступать место в транспорте пожилым. сверстникам и с недоумением смотрю на благовоспитанных молодых людей, уступающих место мне. Пожалуй, изменилось ощущение любви — она все чаще приобретает качество жалости.

Зная себя как облупленного, скажу без рисовки, что имел и имею больше, чем заслуживаю. На недавнем застолье семейный патриарх — дядя Юрий Моисеевич, как бы исключая меня из разговора на равных, сказал: «Ну ты у нас вообще счастливчик». Я сперва пропустил его слова мимо ушей, а после огорчился: ведь если дядюшка прав, я проживаю некий неполноценный вариант жизни — все как у всех, но в щадящем режиме, не в полную силу. По здравом размышлении я решил не искушать судьбу, а попросту благодарить за послабление — знать бы, кого или что.

Само собой разумеется, 25-й кадр смерти подмигивает, как и прежде, но это подмигиванье ужасает меньше, чем в детстве и юности. С годами я согласился с Чеховым, что «жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать». И все-таки сознание неохотно, непоследовательно и не до конца примеряется к

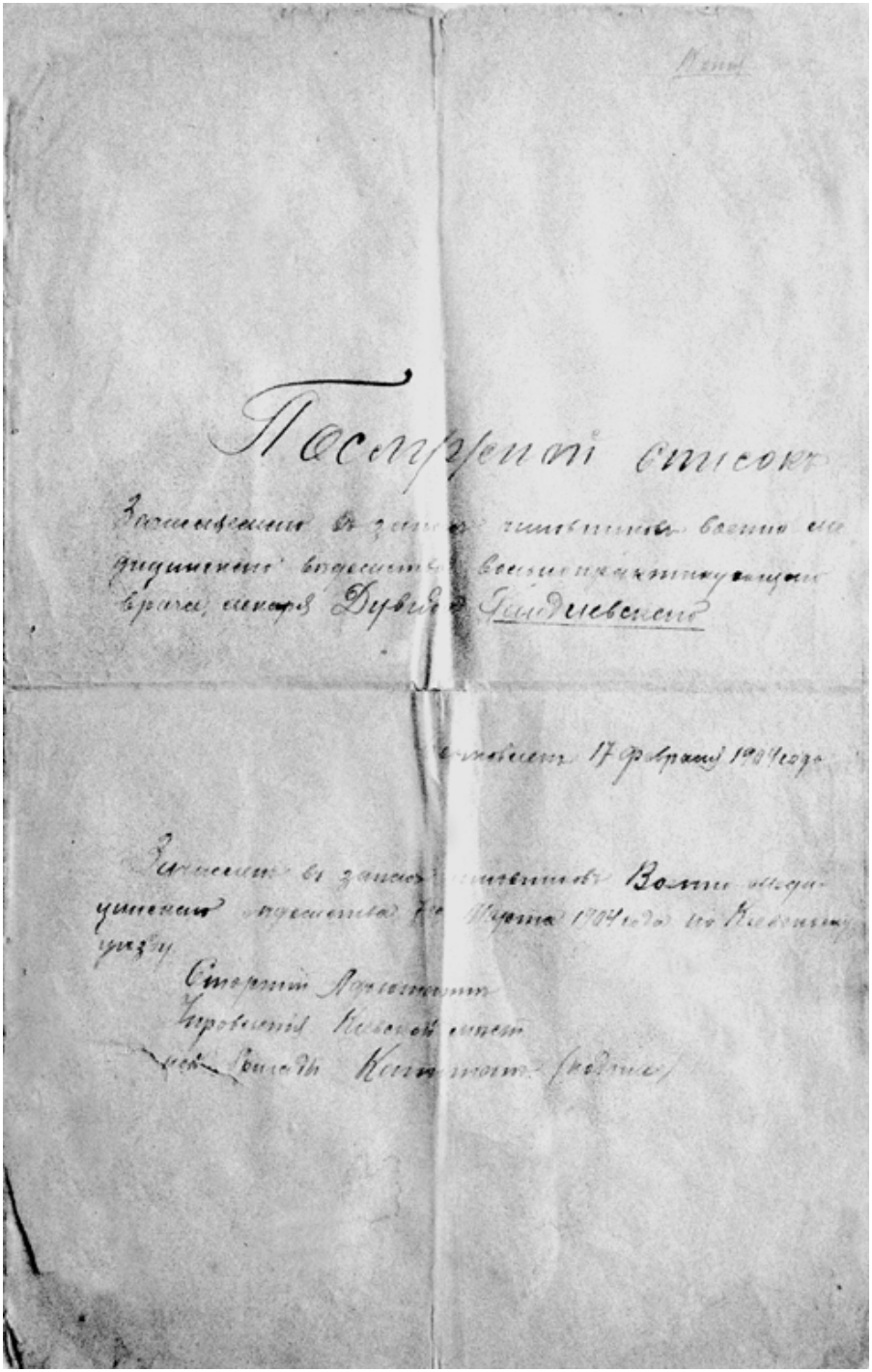
собственному абсолютному исчезновению — секунда в секунду с отключением, так сказать, источника питания. К тому, что все нажитое и, как кажется, вполне оцененное именно тобой — главным специалистом по дворовому тополю в два обхвата, воркованию проточной воды в сваях, стихотворным и музыкальным фразам, красоте и ужасу звездной ночи и проч. — в одно мгновенье превратится в никчемный мусор на растопку. На растопку чего, спрашивается?

Сорок лет назад одно мое стихотворение кончалось так:

Мне двадцать лет, я прожил треть
От жизни смелой и поспешной,
И мне ясней и безутешней
Видны ее нагие стержни —
Бессмысленность, случайность, смерть…

Что тут скажешь? Срок, сгоряча и наобум отпущенный зеленым лириком самому себе, вроде бы подходит к концу. Минувшие сорок лет оказались не такими уж смелыми и поспешными, хотя истекли довольно внезапно. «Стержни» на месте — никуда не девались. Но мне решительно не хочется заканчивать нынешние записки торжественными словами, потому что я рассчитываю еще пожить.

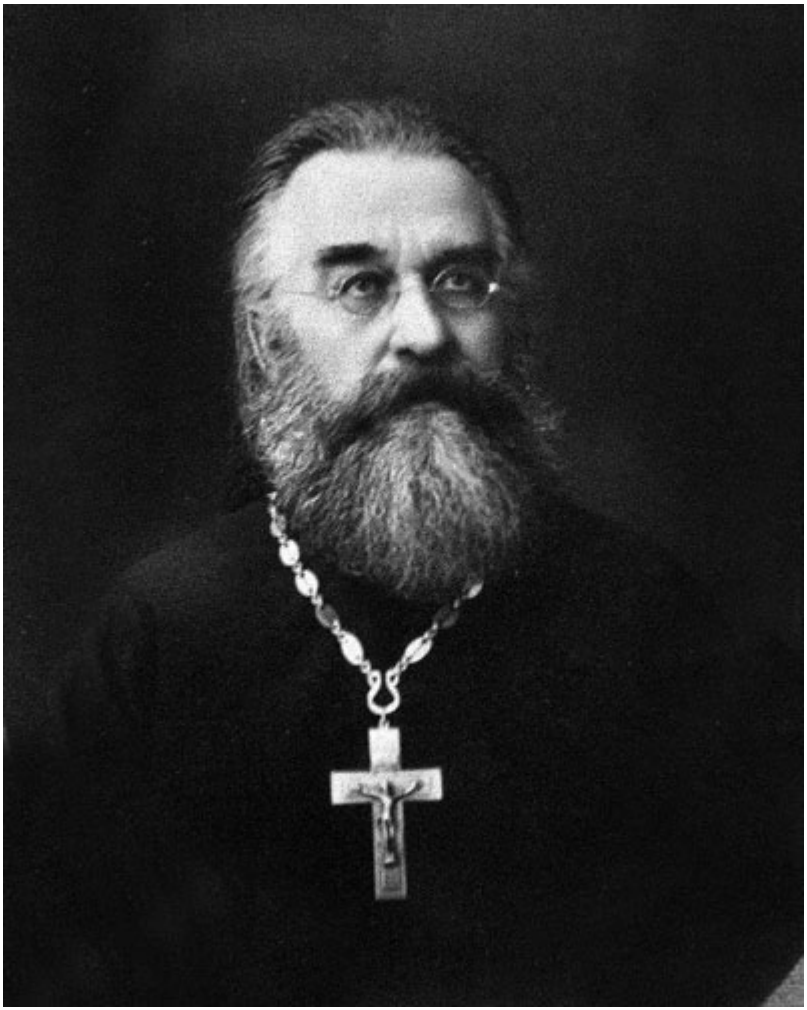
Фотографии



Послужной список моего прадеда по отцу Давида Гандлевского.

Давид Гандлевский с женой Софьей и сыном Моисеем. Швейцария, конец 1900-х.

Следующее поколение с отцовской стороны: Фаня Найман и Моисей Гандлевский с сыном Марком. Сестрорецк, 1930 г.



Александр Орлов, прадед с материнской стороны.

Его жена Александра Васильевна Орлова.

Следующее поколение с материнской стороны: мой дед Иосиф Иванович Дивногорский. Судя по мундиру, на германской войне. Мама отца почти не помнила, он умер в 1932 году, когда ей не было и четырех.

Мамина мать и моя бабушка Мария Александровна Дивногорская.

Вот такой я Марию Александровну смутно помню (она умерла в 1957 г.).

Мама, 7 ноября 1951 г.

Мои родители, 1952 г.

Я с матерью, Ириной Дивногорской, и отцом, Марком Гандлевским, август 1953 г.

Справа от отца — его младший брат Юра, рядом с ним — их мать и моя бабушка Фаня Моисеевна, 1954 г.

Слева от мамы наша с братом названая бабушка Вера Ивановна Ускова, ближайшая подруга маминой мамы. Подмосковье, деревня Малое Сареево, начало 60-х.

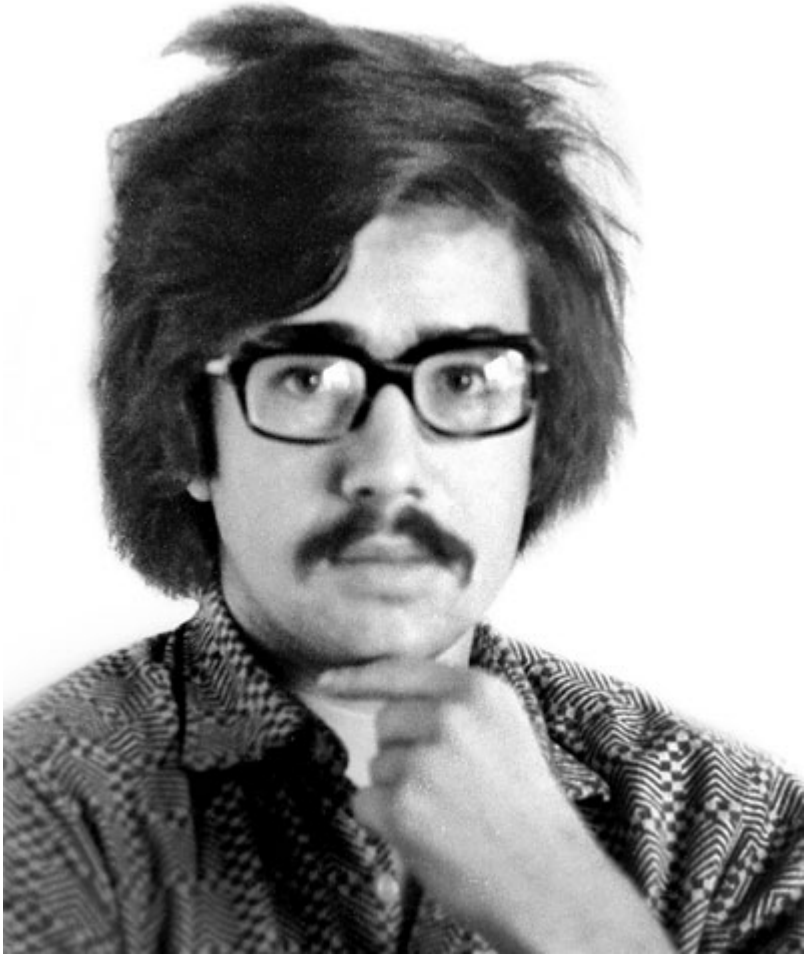
Подопечного Ань-Аня я сфотографировал.

Вера Романовна Вайнберг.

Мой дядя, Юрий Моисеевич Гандлевский, 2010 г.

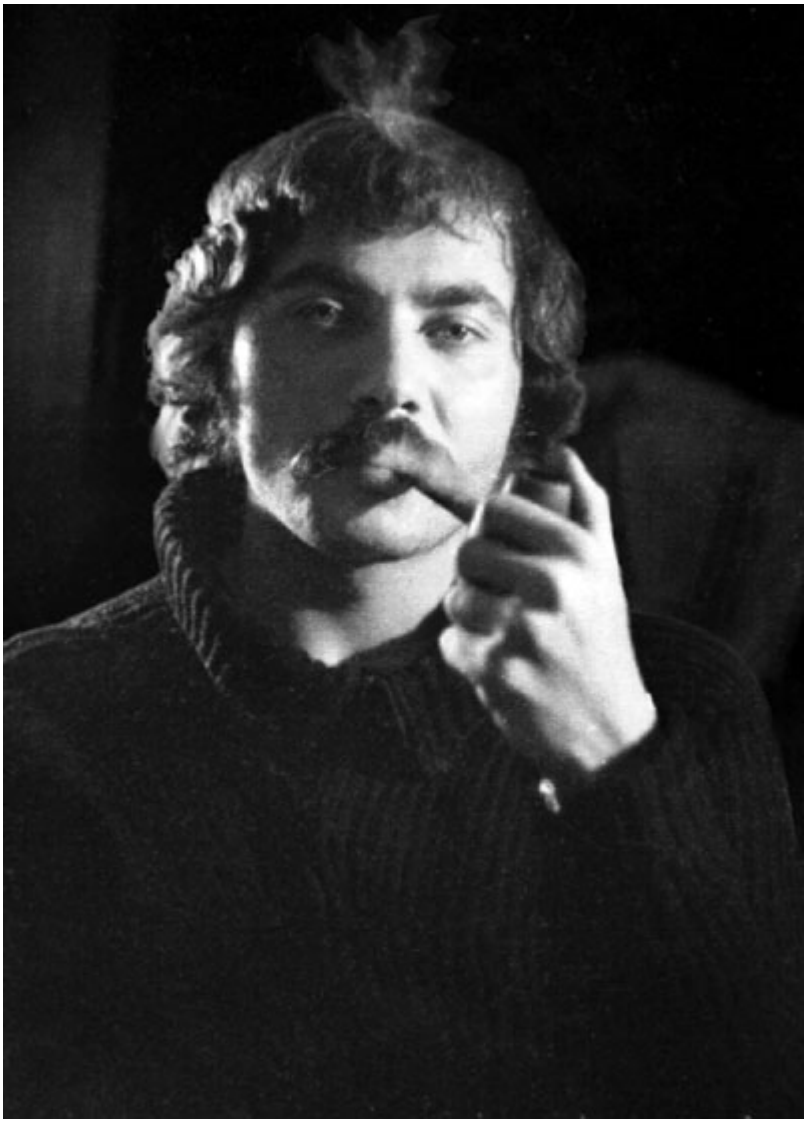
Байдарочники — родительская компания. Ладожское озеро, 1964 г.

Мой брат Саша с нашей колли, середина 60-х.



Мне двадцать три, 1975 г. Фото А. Бескова.

Александр Сопровский.



Алексей Цветков, начало 70-х. Фото А. Бескова.

Бахыт Кенжеев. Фото О. Егоровой.

Аркадий Пахомов.

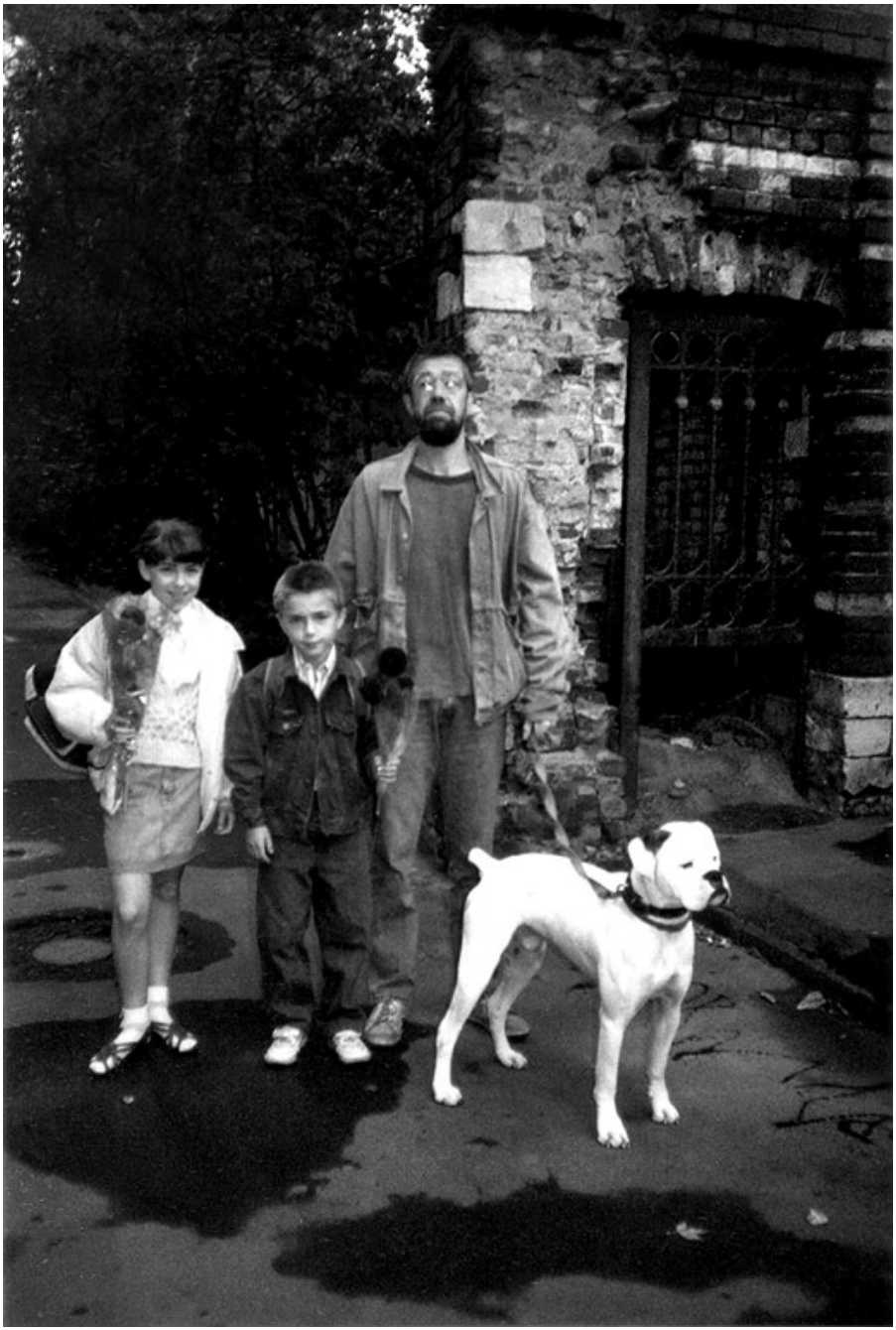
Смогисты (слево направо): Юрий Кублановский, Владимир Алейников, Леонид Губанов и Аркадий Пахомов, 1965 г. Фото Л. Курило.

Юрий Кублановский и Владимир Сергиенко, 80-е гг.

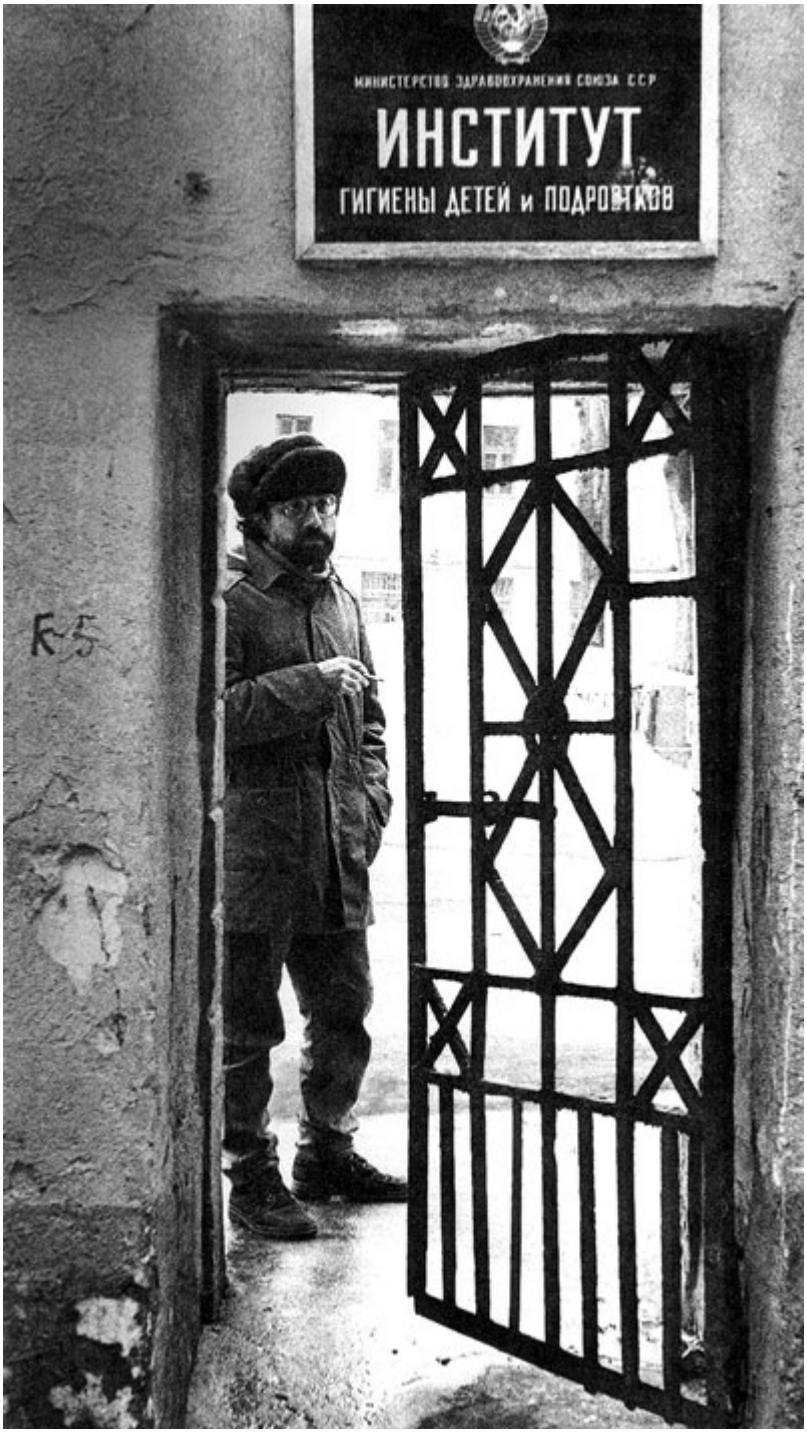
Александр Величанский, 80-е гг.

Алексей Магарик, начало 80-х.

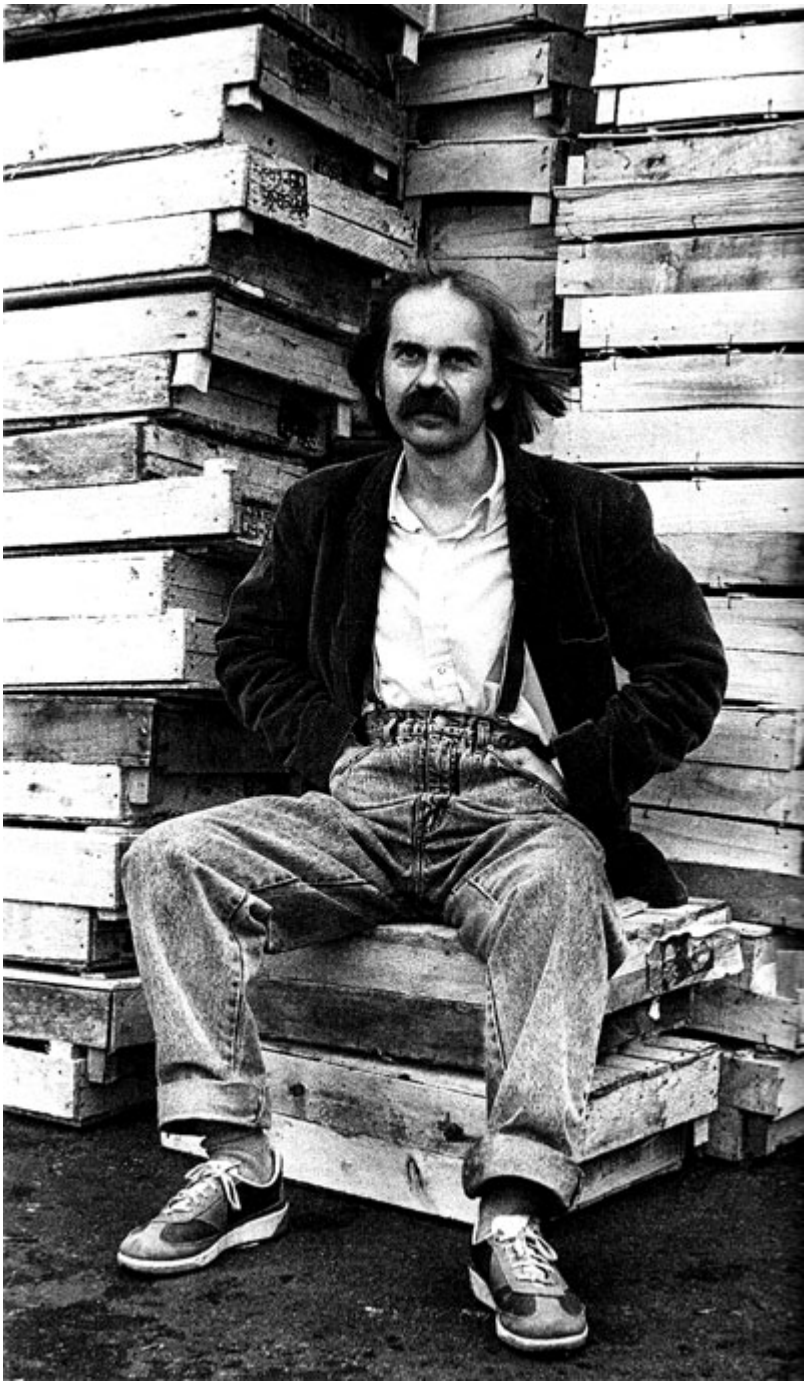
Моя жена Лена с Чарли, начало 2000-х.



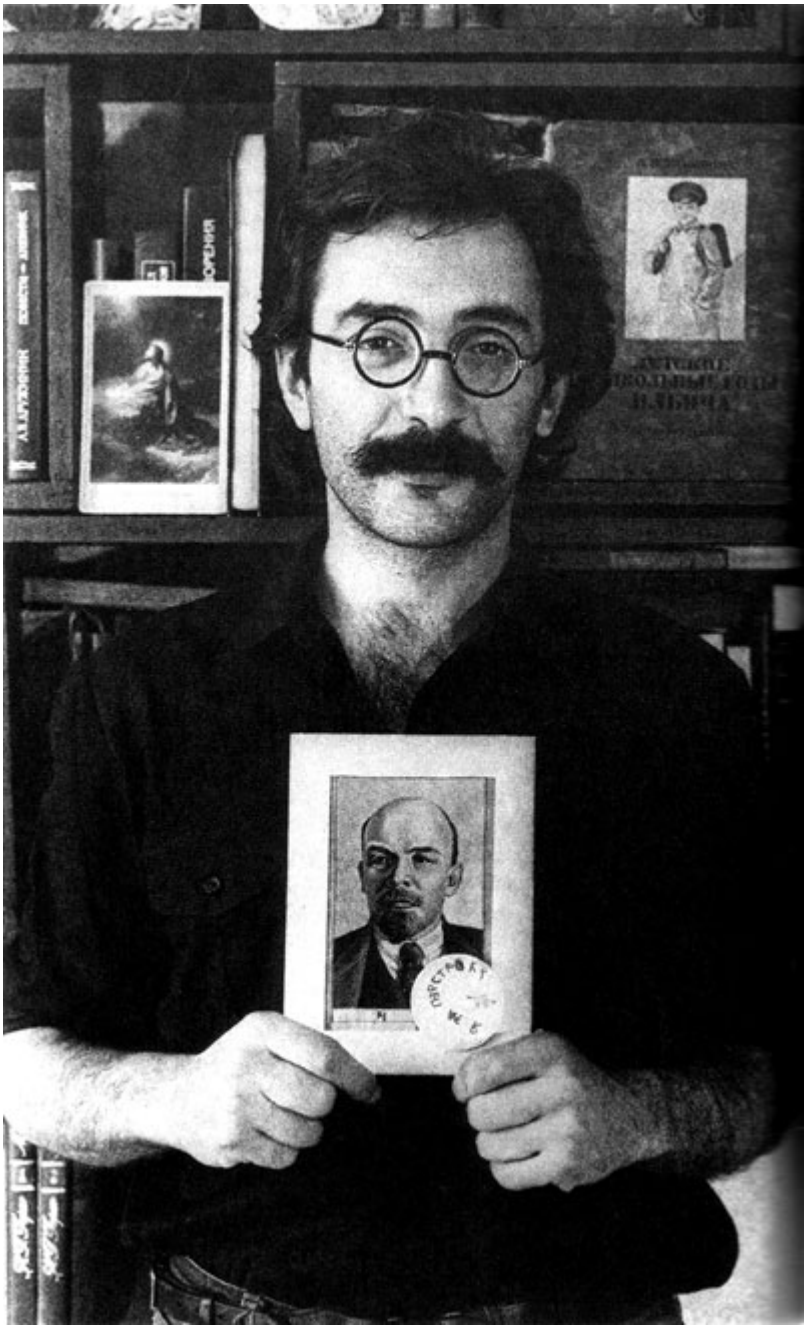
С дочерью Сашей и сыном Гришей, 1 сентября 1994 г.



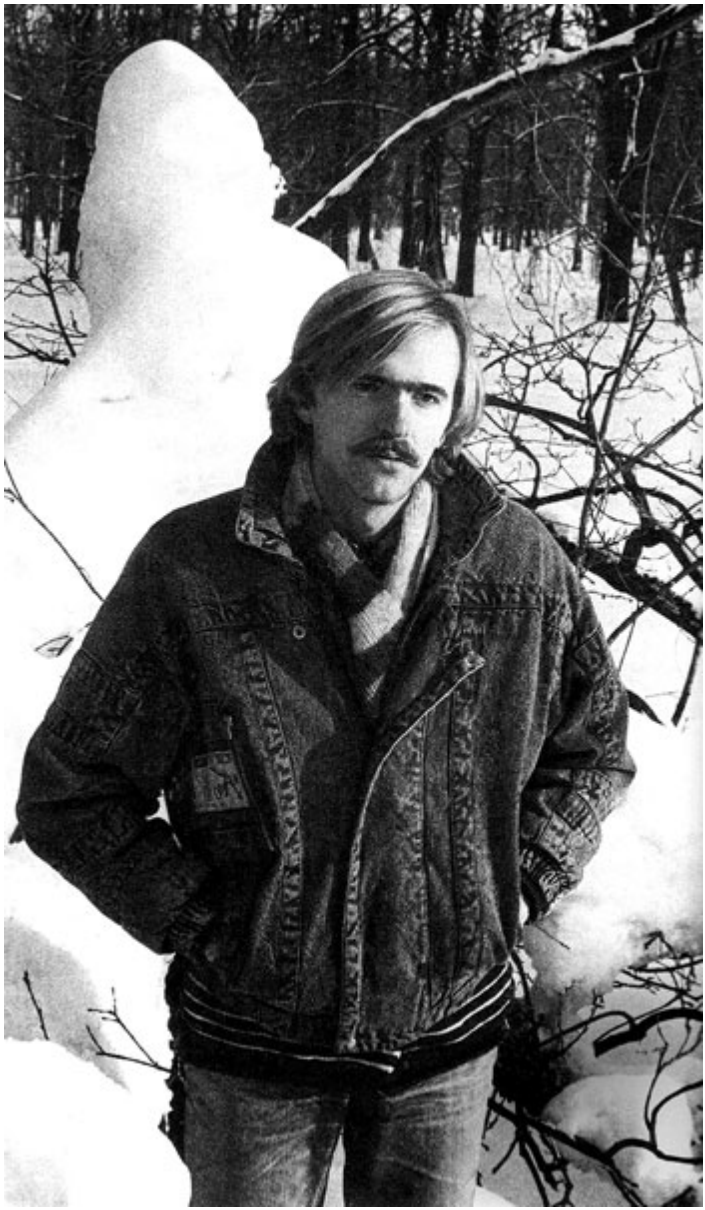
Михаил Айзенберг, 1990 г. Фото Р. Спектора.



Виктор Коваль, 1990 г. Фото Р. Спектора.



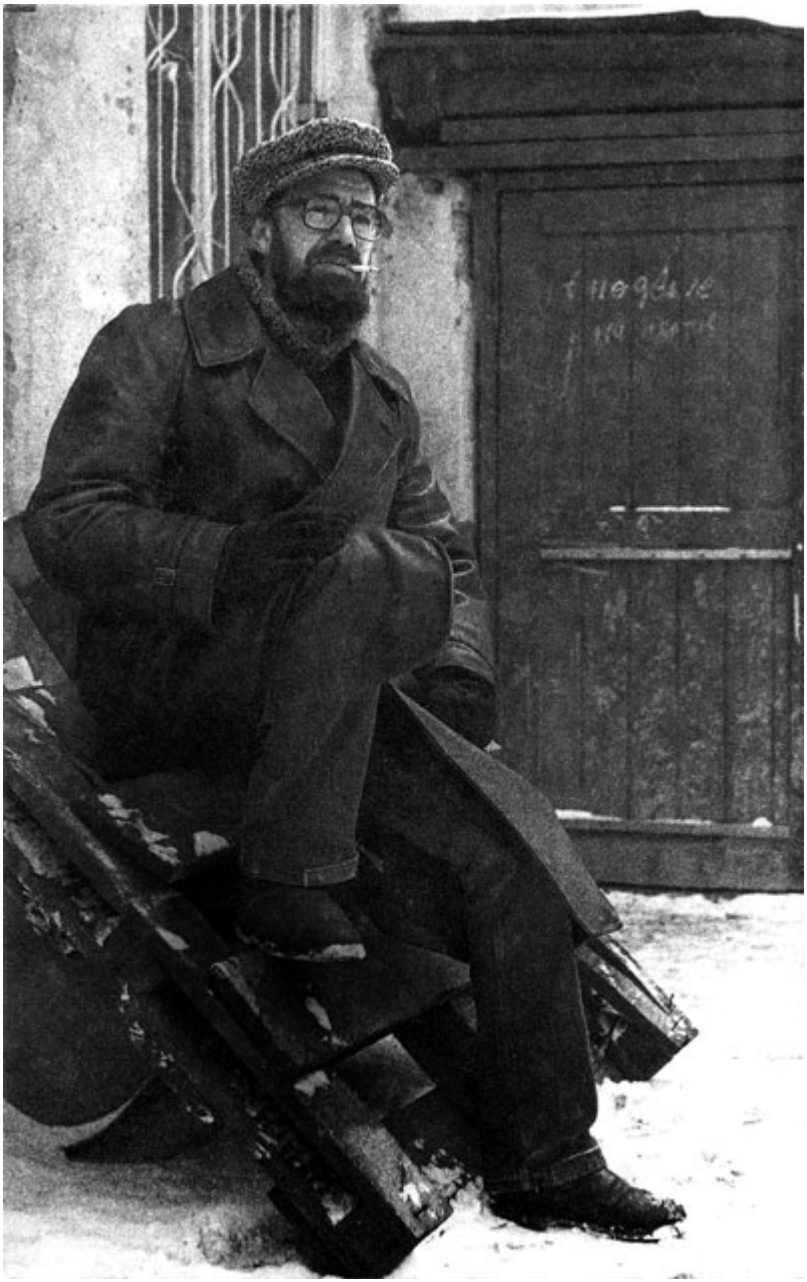
Тимур Кибиров, 1990 г. Фото Р. Спектора.



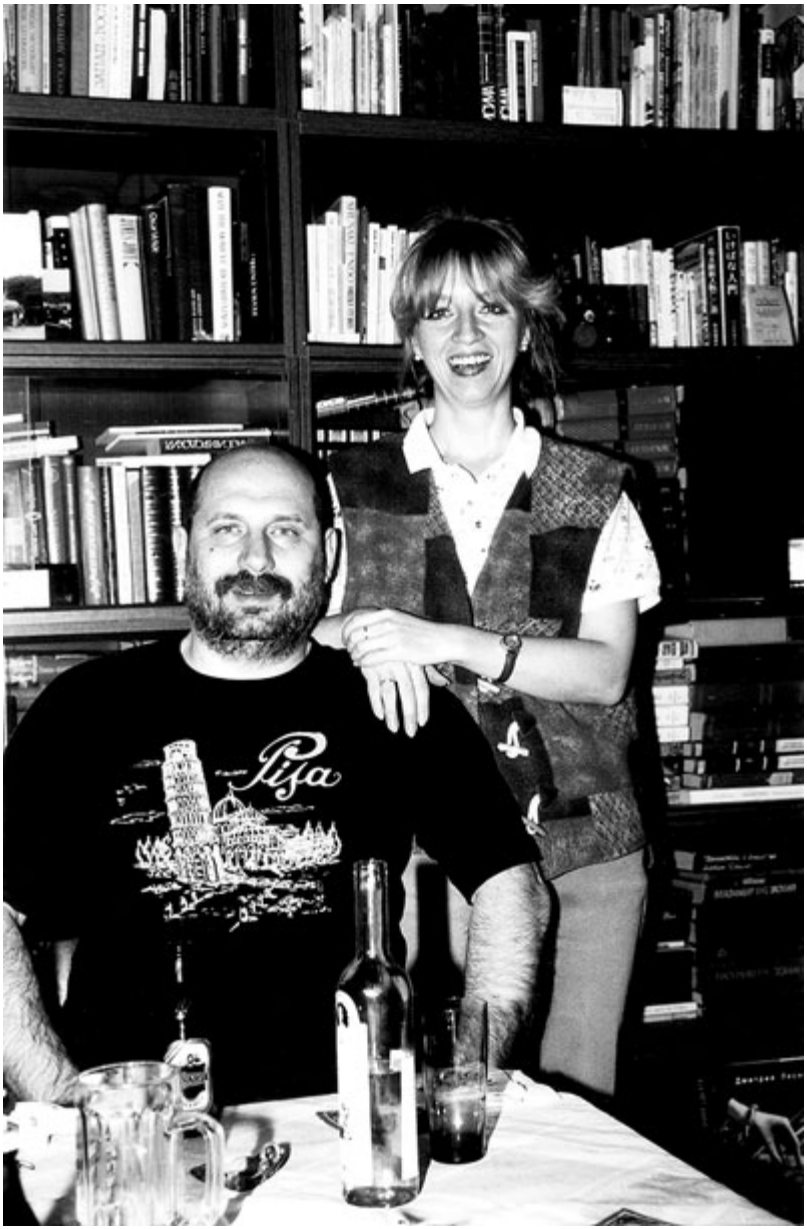
Денис Новиков, 1990 г. Фото Р. Спектора.

Дмитрий Пригов, 1990 г. Фото Р. Спектора.

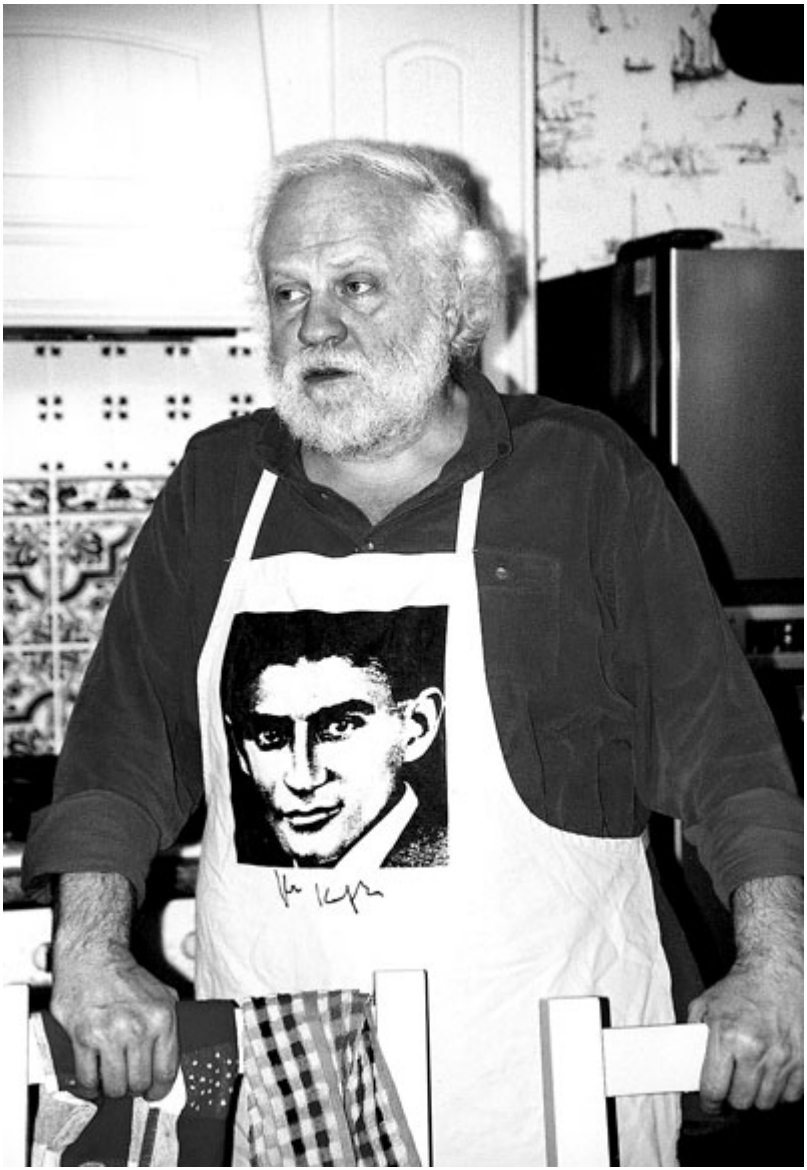
Лев Рубинштейн, 1990 г. Фото Р. Спектора.



Сергей Гандлевский, 1990 г. Фото Р. Спектора.



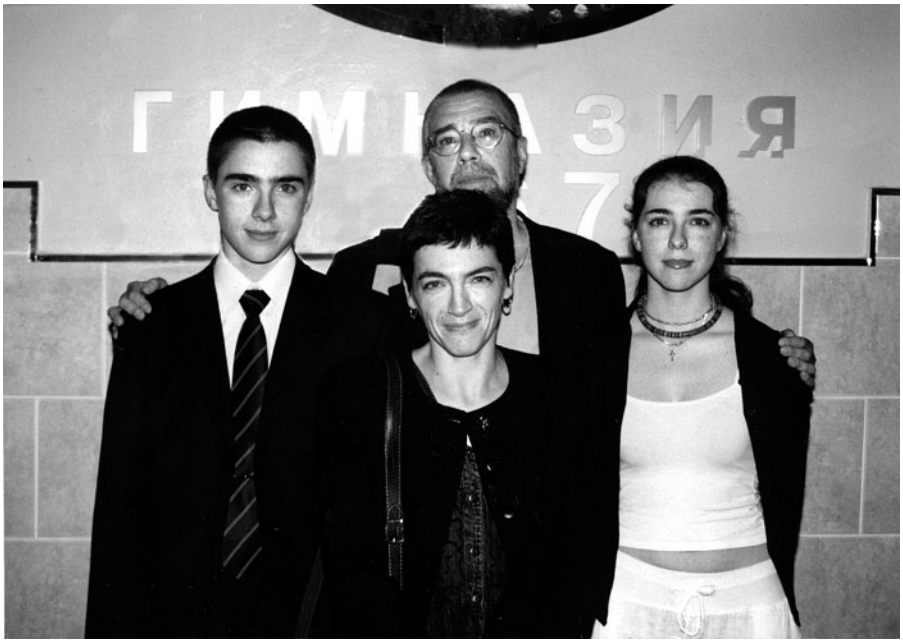
Чета Чхартишвили, 90-е.



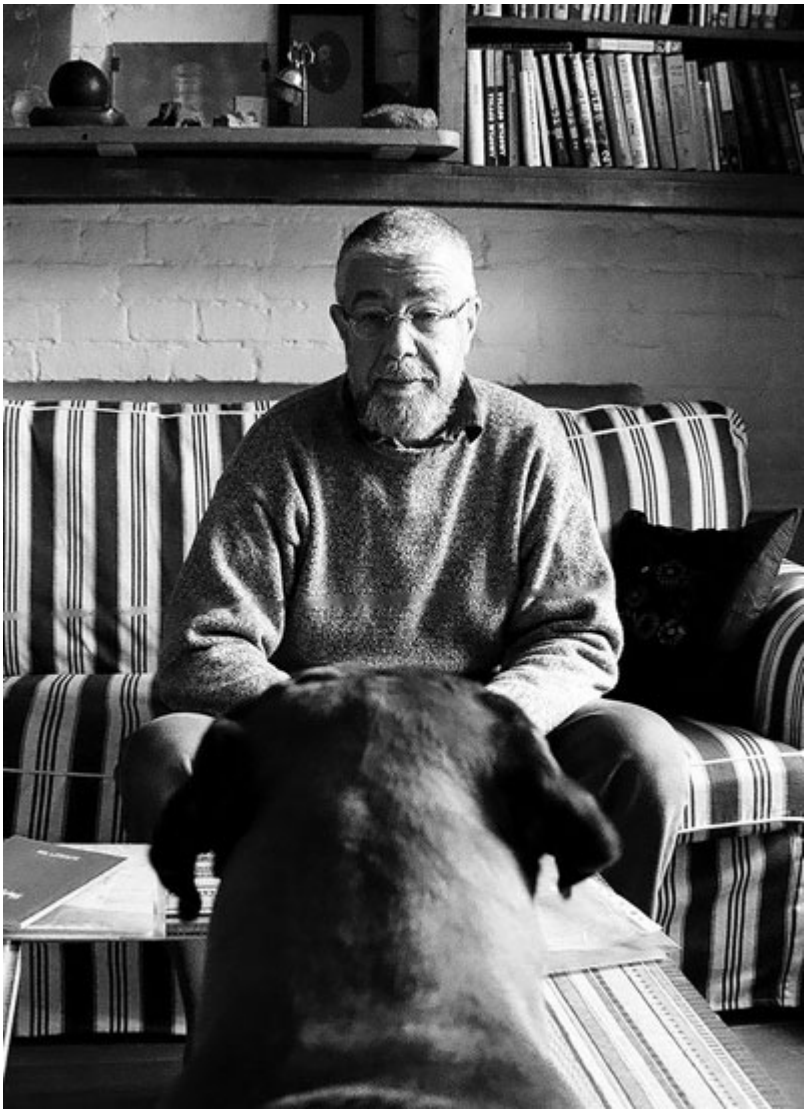
Петр Вайль.

У «своей» колонны на *Piazza de Massimi*. Рим, 1996 г. Фото П. Вайля.

Лев Лосев у нас в гостях. Москва, 1998 г. Фото Г. Ф. Комарова.



Выпускной вечер сына в московской гимназии № 1567, 2003 г.



2011 г. Фото К. Колесниковой.

notes

Примечания

1

Эти автобиографические заметки написаны по любезному предложению писательницы Линор Горалик для ее книги «Частные лица» (М.: Новое издательство, 2012). (Здесь и далее — примечания автора).

2

21 декабря — день рождения Сталина.

3

Такое слово выдумал Курт Воннегут для обозначения ложной духовной общности.

4

Недотепа, человек, которому постоянно не везет (идиш).

5

Еврей (идиш).

6

Пришло в голову, что это вообще-то — конспект моего «НРЗБ» (2002)… Вот и верь после таких совпадений в свободу выбора!

7

Честное слово, я прочел это стихотворение Аркадия Пахомова впервые в жизни пять минут назад, когда искал совсем другое. Так что все мои домыслы по поводу гордыни — не подгонка под ответ.

8

Когда в 2000 г. (!) моя дочь поступала на филфак и для нас с женой настало время довольно специфических местных хлопот, один тамошний профессор вскользь обронил в беседе со мной: «У вас ведь были какие-то проблемы с комсомолом?»

9

Если кому интересно, историю обоих своих «конформизмов» я описал более подробно в эссе «Инициация» и «Америка на уме».

10

Беседовал с нами майор Георгий Иванович Борисов, оказавшийся впоследствии Александром Георгиевичем Михайловым. Он в 90-е годы, помимо прочего, время от времени принимал участие в телевизионных ток-шоу в роли просвещенного консерватора. И вообще преуспел в жизни — генерал-майор ФСБ запаса, орденоносец, лауреат, академик Академии российской словестности.

11

Впрочем, я переводил и хорошего поэта — украинца Павла Мовчана.

12

О наших с В. Санчуком отношениях я написал в «Трепанации черепа».

13

Имеется в виду однофамилец Л. Лосева — Алексей Федорович Лосев (1893–1988) — русский философ и филолог.

Так звали Л. Лосева домочадцы и короткие знакомые.

15

Юз Алешковский.

16

Речь идет о двух вышедших после смерти Л. Лосева книгах: «Говорящий попугай» (СПб.: Пушкинский фонд, 2009) и «Меандр: Мемуарная проза» (М.: Новое издательство, 2010).

17

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. СПб., «Лимбус-Пресс», 2010.